

**Е**ще в молодости, запав в сердце, не отпускала меня эта строка: «Течет вода, и утекает жизнь», которая тогда виделась лирико-философской и даже самим названием объясняющей возможную повесть в мозаичных, не связанных друг с другом картинах, сценах, эпизодах, промельках быта и бытия. Так и складывалась она многие годы, чтобы сегодня прийти к читателю, особо нуждающемуся в сокровенном слове.

## ПРОЛОГ

*И каждый день, на утренней заре и в полночь, раздается не всеми слышимый голос: «Потопные воды поднимутся выше самых высоких гор, пожары вселенские спалют все живое. Или забываете, излукавленные люди, рабы суеты, о конечной точке своего земного бытия?»*

*Колесо кружится, на мировых холмах и стремнинах отсвечивают, вздымаются и угасают блики, травы и волны — Вселенная и жизнь удаляются и возвращаются вновь.*

*А ты, путник (в руках то посох, то ветка, то серп, то копые, то автомат), идущий через века, через океаны и континенты, — лишь малая песчинка среди нескончаемого хаоса песчинок в огромном мире; из увиденного и пережитого тобою даже мозаики не составить, которая бы не осыпалась, а стала украшением храма, будь твоя жизнь праведной.*

*По обочине изорванного пути (с одной стороны густо, с другой стороны редко) бредут люди. Это твои предки и твои потомки, но почему же потомков всего только горстка? Или и твой род прерывается, уходит в иное бытие, как то случилось с миллионами других?*

## ТРЕВОГИ ДЕТСТВА

*Семь (или сколько их?) тысячелетий цивилизации, где все: и высочайшие взлеты человеческого духа, и глубочайшие его падения... а я еще ничего не видел и ничего не ведаю, потому что есть беспредельный в пространстве океан, наполненный довременными водами, огнем и мраком; там свои блики, зыби и волны, и я еще там...*

## МЕНЯ ЕЩЕ НЕТ В МИРЕ

Чтобы я появился на Свет Божий, моему будущему отцу надо было приехать на учительство в славное криницами село, встретиться с радостными и тревожными глазами чернявой украинки-старшеклассницы... Что ж, все так и случилось.

Они поженятся, они уже три года вместе, есть у них дочь и сын, но меня-то все еще нет... Вернее, я уже в телесных глубинах матери, в теплых водах ее лона, но я еще ничего не ощущаю — не то что семь тысячелетий цивилизации, а даже малую свою родину — три полоски к Дону тянущихся хат, левады в осокорях да бугры в горицветах... Впрочем, небесный купол над землею един, но я и неба не вижу: меня еще нет в мире.

## ГЛАЗА МЛАДЕНЦА

В белом, стерильно чистом роддоме раздался крик: родился человек! Белые простыни, белые линолеумные полы. И белые, слегка желтоватые, как молоко юной матери, стены. Белесо-мутноватые глаза младенца еще ничего не различают — ни цвета, ни пространства, ни стен. Со временем всякое множество окружит его — стены родного жилища, детсада, школы, университета; может, стены казармы и больницы; может быть, сияющие, увешанные оригинальными полотнами стены особняка, а может быть, и серые голые стены тюрьмы, ибо на веку — как на долгой ниве, и недаром молвится: не отказывайся ни от суммы, ни от тюрьмы.

Но стерильно чистому роддому нет и ста лет, а во все века было: рождается человек в пещере и хижине, в поле и лесном овраге, на горном перевале и на приморском песке; рождается на повозке и на сырой земле, нередко под грохот и брань, когда младенческое сердце уже чувствует гарью исходящие пожары войны и мира.

И помещать рождению человека может чаще всего сам человек.

Отец склоняется над крохотным сыном-младенцем в первой его кроватке. Белый комнатный потолок, которого как бы и нет: едва открывшимся глазенкам все равно что потолок, что небо. Непроясненные глазенки, равнодушно воспринимающие вся и всех. Растительная жизнь. Но в глубинах, более далеких, чем космос, что-то пронизывается, что-то видится, еще или уже не видимое отцу.

...Маленький сын из распахнутого окна окраинной пятиэтажки долго вглядывается в небесный свод. «Папа, а звезда в ладонке уместится?» — «Нет!» — «А в нашем доме?» — «Нет!» — «А на всей земле?» — «И на всей земле не уместится». Сын недоверчиво молчит, затем восклицает: «Когда я вырасту — полечу к вон той звезде (указывает на самую яркую в ковше Большой Медведицы), она мне нравится. Как Света на детской площадке!»

...Пятилетний сын, проснувшись: «Папа, я всю ночь не спал. Мне надо идти к врачу Ночи». Он же, когда они с отцом миновали околицу, видя, как дорога выводит на вершину холма, звонко удивляется: «Папа, гляди, дорога поднимается в небо!» А когда возвращаются, размышляет, в свои слова ребенка вмещая и взрослого: «Папа, а в небе, наверное, хорошо?! Я бы там поспал в облаках. Только как туда дотянуть кровать из нашего дома?» И спрашивает: «Папа, а я похож на цветок? Мне говорят, что я похож и на папу, и на маму, а мне ночью приснилось, что я похож на цветок одуванчика».

...«Звезда падает!» — ребенок восторженно зовет родных, видя, как на небосводе устремляется к земле огненный хвост — рассыпчатый потухающий след.

Почем малышу знать, что упала, разбилась человеческая жизнь?! В тысяче километров от города, в чахлой песчаной степи догорал потерпевший крушение пассажирский самолет, по трапу которого еще час назад среди ста двадцати словно кем-то приговоренных поднимался и его отец.

## НЕЧАЯННО РОЖДЕННЫЙ

Ему ждать еще долгие месяцы до того, как родиться, да и вопрос: появится ли он на белый свет? Несколько раз родители заговаривают, как трудно будет прокормить пятерых малых, да и время — тревожное, предвоенное, а начнись война — не дай, конечно, Бог, — что вообще останется от дома, от семьи, от страны?!

Но в последний разговор дедушка-старовер, отец исходящего в сомнениях отца будущего ребенка, отрезал сурово и непреклонно: «Дитя — создание Божие и принадлежит Богу. И меньше всего вам. Хорошо, если воспитаете его благонравным человеком. И Бог возрадуется, и сын спасибо скажет. Какая ни выпадет погода, дите уже живое и должно жить!»

А он, трехмесячный, родителям своим из материнского лона трубит ножками, умоляет и обещает: «Я буду послушным, добрым, исполнительным, благодарным, я не буду грешить!» — не совсем понимая смысл последнего слова.

Минуло полвека... Он не смог стать тем, кем обещал. Самое прискорбное — таскает за собою неснимаемый рюкзак грехов: там и обманы, и слабости, и грубости, и заросль гордыни, и семейная нечуткость.

А когда он, выбившийся на верхи, из столицы приезжает в село, где

родился, прежде всего спешит на могилу к дедушке. Погост он и есть погост, но насколько было бы теплее, если бы он покоился в березовой роще или в придорожной полосе ржи, пусть и не постоянно навещаемый. Нет, этот погост — нагой, сухотравный, на глинистом косогоре — вроде бы и в селе, и вне села.

Никто не видит, как плачет пятидесятилетний, грехами наполненный человек, стократно и страстно шепчущий: «Прости меня, дедушка, прости меня, родной!..»

Никто и никогда не услышит его покаянный плач.

## В ВЕСЕЛОМ ЗИМНЕМ ПАРКЕ

В окраинном городском парке постоянно слышался детский смех. Парк и замышлялся, и строился ради детской радости. И чего только не было в нем: самолет, отданный под кинотеатр, автодром, тир в пасти железного зверя, детская железная дорога, всяковские аттракционы. Главное же — городок сказок. Меж молодых березок возносились бревенчатые островерхие терема царевны Несмеяны, изба-печь простецкого парня Емели, за каменными отрогами полыхали огненно-красные языки, гнездились царство Кащей Бессмертного, чернела ведьмацкая прокопченная труба, откуда Баба-Яга лихо вылетала на метле.

В этот воскресный день (может, лучший за всю зиму: слегка морозный, щедро солнечный, с молодым снегом и сказочным инеем) парк был заполнен большими и маленькими отдыхающими, повсюду разносились веселые детские голоса.

И вдруг...

Они шли молча, как бы толчками, по утоптанной дорожке, тянущейся через весь парк. Высокий стройный отец и — гнутым деревцем — его сын, калека-отрок; одной искривленной ручонкой сын судорожно хватал отца за локоть, а другую, искривленную — резко выбрасывал вперед, словно бы грозя неизвестно кому и чему; он теснил отца с дорожки в снег, и видно было, что требовались немалые усилия, чтобы удержать подростка идти ровно. У отца — покорное страдание в глазах, у сына — отсутствующее, жутковатое выражение на лице. Так они шли молча, а вокруг шумно резвилось веселье.

И только один стареющий, уставший жить мужчина, видя радостное и скорбное, молил, чтобы выздоровел этот несчастный отрок и выздоровели миллионы их, маленьких калек, иначе — зачем этот веселый парк и великие творения человечества в слове, в краске, в звуке?! Не о слезинке ребенка думал он — о реках слез человечества, которому во все века в испытание и наказание даны больные дети.

## ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

В вечернем парке — редкие отдыхающие. На поляне — молодая семья. Отец и мать, сидя на скамье, придвинутой к медноствольной сосне, вспоминают фильм «Белое солнце пустыни», а маленькая девочка в красной курточке (медведь-капюшон) покачивает, толкает взад-вперед красную коляску. В маленькой девочке — извечная мать, оттого она и покачивает, и раскачивает подвижную колыбельку. Сейчас ее самое усадят в эту коляску и увезут спать.

Но сколько же на земле колясок, которые однажды окажутся пустыми, потерявшими теплоту детских телец!

## ОТЧИЙ КРАЙ И ЗЕМНОЙ ШАР

Первое чувство родины — восхождение с отцом на высокий меловой кряж, почти отвесно спадающий к берегу Дона. Открывается такая даль, что вижу не только песчаное, сосновое заречье и предстают глазам не только левобережные Николаевка, Казинка, правобережные Духовое, Семейки, но и невидимые за полевыми холмами, нивами и дубравками малые хуторки с чистозвучными названиями: Ясное, Солонцы, Вершина, Архангельское, Славянка...

Уже школьником, увлеченный далекими географическими названиями, я полюбил эти восхождения так, что недели, а то и дня не бывало, чтобы не поднялся на макушку гряды, заветный приречный венец, самый заметный по округе слан меловой толщи, с которого мог мысленно видеть, как Дон, пополнив своими токами моря: Азовское, Черное и Средиземное, смешивается с водами Атлантического океана, и капельки его воды достигают Африки, Северной и Южной Америк, причудливо, через иные моря и реки попадая во все мыслимые и немыслимые точки земного шара.

И — удивительные миги — я вижу себя на океаническом острове Святой Елены, на безжизненном взгорье Огненной Земли, и там, где впадает Амазонка в океан, и там, где вздымаются сталагмиты нью-йоркских небоскребов, и у Мертвого моря, и на одном из оснеженных холмов Аляски. Скорей всего, это был не я, а целый собор родственно настроенных мальчишек, разных цветом кожи, разных возрастом, которым тоже открывалась своя малая родина и земной шар — большая родина человечества.

Я тогда и подумать не мог, что у многих из нас отнимут нашу малую родину. А иные и просто в поисках лучшего покинут ее и легко забудут.

\* \* \*

Как мальчик был —  
С селом дружил.  
А юным стал —  
Весь мир объял  
И полюбил.  
И думал я,  
Что не из золота-серебра,  
А из приветного добра —  
Вся жизнь моя.  
Жизнь — нивы стон,  
А не салон,  
Не бал,  
Не праздное «Кружись!»,  
Страда есть жизнь!  
И во все дни свои —  
Трудись!  
И во все дни свои —  
Молись!

## ОДНАЖДЫ В ЮНОСТИ

*Посох уводит тебя в юность человечества, в столицу древних Олимпийских игр, и неожиданно ты становишься юношей, метаящим копье, в которое обращается твой посох. Соревнуются дискоболы, бегуны, борцы. Но главное — состязания на колесницах-квадригах. Сколько погибших и искалеченных возниц и коней при заездах тех квадриг! Но зрелище уже неотразимое, азарт игры уже неодолим...*

*В юности ставятся мировые рекорды на олимпийских стадионах, бассейнах и площадках, в юности гибнут в море-океане отважные моряки, в юности отчаянно плывут навстречу своей гибельной или счастливой судьбе, захлебываясь водой.*

*А кто-то в раскаленной пустыне версты не добредает до оазиса и, не имея спасительного глотка воды, обессиленно падает.*

## ДВА ДЕРЕВА НА ГОРИЗОНТЕ

В южной безводной степи — военный городок. На дальние километры вокруг — чуть волнистая безрадостная пустынная равнина, зимой — белая от снега и солнца, летом — желтая от солнца и песка. Большие многолюдные города далеки отсюда. Может, за тысячью горизонтов.

На первом видимом горизонте — два зыбких дерева, их, при желании, можно принять за хрестоматийные пальму и сосну, которые, наконец, встретились. Для проходящих здесь службу эти два дерева — как вестники о другом мире, где днем и ночью ни на миг не стихают их родные бессонные города.

На контрольно-пропускном пункте воинской части к столбу приколочен письменный ящик. Синий ящик — как окно в родину. Уже опустив конверт и глядя на зыбкие деревья на горизонте, какие-то единственные слова беззвучно скажет часто приходящий сюда молодой парень в солдатской форме. Иногда ему кажется, что деревья медленно-медленно сближаются. Любимая, дождись!..

## ПИСЬМО

Полуденный летний час. Из раскрытой двери почты выходит девушка. Глаза... впрочем, их не видать: они в письме. Медленно бредет она через двор, вся погруженная в чтение. И улыбается, улыбается. На миг поднимает глаза — чистые, но и чуть затуманенные, большие — истинно прекрасные очи юности. И вновь читает. Забрела в цветник, уткнулась в штакетник; на миг очнулась и, выйдя на тропку, опять — вся в письме, вся — где-то там... Ее любимый, ее желанный пишет длинные письма, наполненные радостным чувством грядущей встречи, воспоминаниями, как расцветало их чувство, и сколь прекрасны были встречи у берега реки или за околицей, где они бродили, самые счастливые на земле.

И покамест такие письма со штемпелем войсковой части — лучшие мгновения ее жизни.

...А у ее дочки — дочки от любимого, погибшего в приграничной перестрелке, сотовый телефон, и обменивается она со своим парнем не письмами, а эсэмэсками, вроде: «Не приходи завтра, еду в город в салон красоты. Не узнаешь: вся под Голливуд! Приходи послезавтра».

— Оля, как отпустили тебя хлопцы из твоей деревни? Ты такая милая...

— Теперь повсюду одни милые, — отстраненно отвечает медсестра областной больницы, явно не желая продолжения разговора ни в процедурном кабинете, ни где бы то ни было.

Получив свою дозу пантокрин в известное место, больной, мужчина лет за сорок, большегубый, чуть лысеющий, тщится заигрывать с двадцатилетней медсестрой, а той противно, так противно, что хочется... хочется с размаху залепить в сальные губы, в темные глаза, нагло уже раздевающие ее. Год назад наобещавший ей с три короба сановитый пациент, тоже большегубый, чуть лысеющий, сумел улестить ее, и ей кажется, что это опять он, но уже под другой фамилией и с измененным голосом.

### БРИТВА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ

В послевоенном детстве он любил наблюдать, как бреется отец. Это было похоже на священнодействие. Превосходная немецкая складная бритва разворачивалась во всей приманчивости, из бортиков черно-блестящей пластмассовой оправы появлялось острое стальное лезвие, и отец принимался, не торопясь и уверенно, брить щетину — так хороший косарь в час косовицы уверенно, без огрехов, срезает рожь.

Ночью в больничной постели красивая, со следами душевной боли и усталости, девушка вынула из-под подушки складную немецкую бритву «Золинген» — острое стальное лезвие в черно-блестящих пластмассовых створках.

После того как в гололед она попала под трамвай и с искалеченными ногами оказалась в больнице, ее жених, ее любимый навещал ее месяца полтора ежедневно; затем — через день; затем все реже, реже...

Бритву он принес после долгих, настойчивых ее упрасиваний.

Так разве ж он виноват? — пытался успокоить себя, когда в его благополучную жизнь с красавицей женой — длинные ноги и тугие бедра — врезалась вдруг, словно бы сама бритва, мысль о бритве, когда-то оставленной им для покинутой любимой?

На могиле отца он, каясь за все свои скверные поступки на земле, повинно вспоминает и про бритву, которую в ранней юности выпросил у человека, давшего ему жизнь, и которую обещал хранить как чудесную явь детства и никогда не выносить ее из дома.

### И БОЛЬШЕ ЕЕ ОН НЕ ВИДЕЛ

Она была выпускницей десятого класса в придонском городке, куда он приехал на сборы в спортивный лагерь. Он был года на полтора моложе ее, но, словно опережая свой возраст, стал «восклицательным знаком» не только лагеря, а и всего придонского городка: пробежал, прыгнул, метнул копье успешнее всех. Она залюбовалась им, и он был в том юношеском робко-дерзком возрасте, когда не мог не очароваться красотой девушки. Как-то само собой получилось: их словно потянуло друг к другу.

В поздний июньский час они бродили вдоль берега Дона, и там на них

набросились четверо, которых он расшвырял, двоих загнал в воду. Но последний успел полоснуть его ножом.

Она требовательно попросила зайти в дом, промыла и обработала легкий порез на его шее, сказала, что не отпустит, не угостив своими целебными чаями. И они ночь отдали друг другу. Под утро он по-крестьянски основательно заговорил о будущей женитьбе, но она безрадостно усмехнулась: «Мой отец — первый секретарь райкома. Берут на повышение, в ЦК... Он завтра с мамой возвращается от родственников, на неделю поедет на Черное море, а там и — здравствуй, Москва, столица прогрессивного человечества. Так что... у нас с тобой случилась счастливая ночь, а долгого счастья не будет. Счастья вообще не бывает!» — «Да откуда ты такая философия?» — «Я пра-пра-пра... внучка Аристотеля».

До женитьбы он часто заглядывался на красивых молодых женщин, надеясь увидеть в одной из них ее. Но все они, даже изукрашенно-сверхъяркие, казались бесцветней ее. Он достиг вершин в спорте, стал олимпийским чемпионом по метанию копья, рекордсменом мира на самой длинной дистанции на лыжах. Неужели она не могла не знать?

И как сложилась ее судьба? В столичных верхах? Или, может, она живет простой жизнью где-нибудь в сельской глухомани? Или ее всю жизнь мучают бессонницы и болезни? Или ее сразил нож, когда-то предначиненный ему?

Поистине, как у Чехова: «Мисюсь, где ты?» Но только это паточное имя не могло идти ни в какое сравнение с высоким именем его первой возлюбленной, его первой тайны и драмы.

## ЗА ГОМЕРА ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»

«Ахиллесом» обаятельного Константина Николаевича Старинцева, преподавателя античной литературы и истории Древнего мира, мы, университетские насмешники от студенчества, называли неспроста, а за его поистине героическую любовь к античной Элладе, среди великих имен которой им до восторга были любимы и до философских узрений осмыслены славнейшие из славных: Гомер и Геродот. При одном упоминании их, вместе или порознь, докторски остепененный преподаватель воодушевлялся и мог часами свидетельствовать об их величии. Из его вдохновенно-воодушевляющих лекций выяснялось, что Геродот, сколь научно до конца ни выверен, сколь ни легендарен, подчас фантастичен, словно теряющийся в дымке древности, навсегда своими историческими трудами дал тот образ мира, который на протяжении тысячелетий меняется лишь в событиях, именах, картинах, но не в существе своем. А Гомер — и вовсе неоспоримое: «Илиада», да и пусть и в меньшей степени «Одиссея» — это не эпос Древнего мира, но всего человечества на все века.

Экзамены по истории Древнего мира или античной литературе превращались в сплошной триумф древних греков — именно двух величайших из великих. Разумеется, вопросы были не только по Гомеру и Геродоту. Но стоило кому-нибудь из нас, отвечая, скажем, на вопрос о значении исторических трудов Фукидида, Гесиода или трагедий Эврипида, Софокла, сатир Аристофана, произнести несколько общих фраз о них и походя отметить черты, сближающие их с двумя «первогреками», как лицо Константина Николаевича светлело, воодушевлялось, и он мягко просил: «Вы об этом подробнее... Можно так: прямое или не прямое воздействие Геродота на Фукидида». На экзамене по античной литературе



иной студент, изо всей античной литературы и прочитавший разве что Гомера, взяв билет по Гесиоду, скорехонько переходил на создателя «Илиады» и под одобрительное киванье «Ахиллеса» рассказывал запомнившиеся из гомеровской темы. И в студенческой зачетке Константин Николаевич с явным удовольствием выводил оценку «отлично».

Четверть века прошло с той поры. Перебирая имена студенческих лет, чаще других вспоминаешь преподавателя античности, правоту его любви: обожаемые им Геродот и Гомер, при всей наивности и фантастичности многого в их сочинениях, дали развернутую картину мирового движения человечества. Разве не так? Разве «Илиада» не подтвердилась новыми «Илиадами»? Русские «Война и мир», позже «Тихий Дон» — разве не отечественные и всемирные «Илиады»?

А Геродот? Разве он (по преданию или в действительности побывавший в скифском Северном Причерноморье, Приазовье и даже на Дону, то есть на юге грядущей Российской империи) не предугадывал пророчески трагический и героический русский путь?!

## НОЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

В ранней самонадеянной молодости выпала мне ночь — словно целая жизнь. Нет, здесь была не дьявольская воля и не мое наваждение, здесь, по свободному выбору, даруемому Провидением, я имел душевное сверхзрение и возможность духовно путешествовать по всему обитаемому земному миру, словно бы на машине времени и в мгновенном, световом преодолении пространств.

Я вышел из дома на берегу Дона и для начала решил посмотреть великие реки мира. И увидел их — разные (Волга, Днепр, Енисей, Нева, Эльба, Сена, Амазонка, Миссисипи, Нил, Ганг...), далекие друг от друга, но будто ведущие согласные разговоры близких. Возле рек, да еще впадающих в моря, в океаны, располагались большие города и малые деревни. Мне не терпелось, хотя бы как в движущемся кадре, обозреть большие музеи (московские, лондонские, парижские, мадридские, петербургские), и я действительно побывал в них. Далее всего в тихом духовном просветлении простоял в дрезденском Цвингере у рафаэлевой «Сикстинской мадонны» и в петербургском Русском музее у нестеровских инокинь.

Тут нагрянули великие войны и сечи человечества. Сколь мог, пережил наималую часть их, не сразу и тяжело приходя в себя от пережитого.

И оттого ли до ломоты сердечной захотел увидеть живую жизнь, прежде всего — молодые семьи. Во многих странах — отец, мать и двое, трое малышей; зрелище отдыхающей под густыми кронами молодой счастливой семьи с троицей (или сколько их) резвящихся деток — из самых благодатных на моем житейском пути.

Вскоре почувствовал, что и мне на великих пространствах земли, среди множества народов и их юных дочерей, должно найти свою избранницу, свою Музу, Ладу, будущую мать моих сынов. И почему-то меня неодолимой силой Отечества потянуло в родной губернский град, в родной педагогический институт, где на самом пике гудел студенческий вечер географического факультета, и в углу актового зала — тоненькая, всецеломудренная, с огромными с прозеленью глазами и длинными ресницами, стояла она — моя судьба!

Ночь была то светлая, то темная, как и жизнь человеческая. И мы

вместе вышли в ту ночь, чтобы вместе встретить рассвет. И вместе сла-  
дить нашу, тогда еще сквозь дымки надежд и очарований, робко угады-  
ваемую будущую жизнь.

\* \* \*

Я три юности прожил...  
В ранней юности куролесил,  
Был беспечен и весел,  
Чьи-то судьбы тревожил.  
В зрелой юности, зрелостью мал,  
Шел дорогой ли, бездорожьем,  
Как все сложится — знал и не знал.  
В поздней юности, покружив,  
Ощутил (словно бритва по коже),  
Что за все я в ответе, чем жив.  
Юность — память и ныне, ибо  
На ее возвращенной волне  
Стыдно, больно, радостно мне...  
И за все — через годы — спасибо!

## ПРИРОДА

*И посох твой — взят у природы, и все посохи мира — от приро-  
ды. Еще не осознавая этого, в раннем детстве, а затем и созная —  
до самой смерти чувствуешь, что природа — творение Божие. Иначе,  
иначе... Чудо природы — в человеке, в коне, в птице. Но разные быва-  
ют и человеки, и кони, и птицы. Есть хищники, и кому-то они нра-  
вятся. Как нравятся волки, лисицы, а мелкодушным и низкосердеч-  
ным — даже гиены и шакалы.*

*А твой внук, трогательно чуткий и болезненный мальчик, нося-  
щий имя апостола Первозванного, с детства оберегает жучков и бабо-  
чек, любит и знает почти все деревья и травы среднерусской полосы и  
печалится, когда рубят дерево или обрубают ветки, или даже листья  
с ветки сбивают: «Они живые!» Невольно вспомнишь собственные,  
тревоги исполненные ранние строки: «И человеку ли с руки / Рубить  
всемирный лес? / Прогресс, ведущий в тупики, / Опасней, чем регресс».*

## ЛЕЙТЕНАНТ И ПЛОТВИЧКА

Ослепительно зажглась, заставив меня онеметь, летняя солнечная кар-  
тина из детства. Стародонье, полуденный жаркий час, челнок, на котором  
сосед Веретень — молодой, сильный, чуть хмельной. Неделя, как он вер-  
нулся с войны и гордится, хвастается, что он лейтенант, что у него писто-  
лет, каких нет в нашем селе, что на него не без восхищения заглядывают-  
ся девочки и малые, в семь лет, мои дружки. Ватага стоит у самой воды, а  
Веретень правит, едва-едва подвигая челн. Вдруг он, кинув весло, вынимает  
пистолет и, подув на него, на наших глазах разряжает обойму в воде у чел-  
ночного борта; мы онемело глядим, как он минутой позже подбирает за  
бортом что-то белое, видать, малую рыбеху, как лениво вновь берет весло.  
Небрежно и лихо вгоняет челнок в прибрежный ил и с возгласом: «Лови,  
сопляндия!» — бросает рыбку в нашу сторону. Мы расступаемся, и плот-

вичка падает в круг. Мне приходилось видеть, как глушили рыбу толвыми шашками, и, соединенные общей бедой-участием, искаленные и неживые, переваливаясь с боку на бок, разнорыбицы поднимались на поверхность воды. И все же их было не так жалко, как эту единственную, с сизо-красноватыми беспомощными плавниками...

Через десять лет. «Веретень, помнишь несчастную плотвичку? Я приглашаю тебя не на уженья рыбы — я вызываю тебя на поединок!..»

## РОДНИКИ И РУЧЕЙКИ

В детстве, в моем родном селе, с боковины приречного холма, похожего на гигантскую булаву, пробивались в разные стороны (один на восток, другой на запад) два родника; словно два брата, избравшие противоположные жизненные пути. Близ истоков они укрупнялись в ручейки. Один ручеек метров через триста втекал в Дон, а другой — медленно струил по скосу придонского холма и у левад, у заросшего крапивами оврага внезапно уходил в почву.

Я любил эти родники, эти ручейки, и редко не бывало дня, чтобы не навещал их.

Приходил к «донскому», долго разглядывал, как изглубинно выбивается чистая, будто стекло, вода; нагладевшись, шел вдоль изворотов тоненького ручья, пока тот, тихо журча, несмелый, как первоклассник, не впадал в Дон.

Возвращался назад, переходил к роднику «степному», и все повторялось: долго разглядывал, как на поверхность из глубинных недр освобожденно пробивалась чистая ключевая вода, а затем также шел вдоль змеевидного ручейка, пока тот близ оврага не пропадал в земной глубине.

Снова возвращался, снова долго сидел в заветном уголке, теперь уже зачарованно разглядывая холмистые полевые окрестности родного села и задонское, в песках и соснах, заречье. Наполнял бутылку родниковой влагой и скоро оказывался на отчем подворье. Когда говорил маме: «Ходил за водой», она меня поправляла малороссийской поговоркой: «Пойдешь за водой — назад не вернешься!»

Все же через полвека вернулся. Ушли в мир иной мои старшие родные, ушли учителя и сверстники-соклассники, село и природа вокруг изменились неузнаваемо. После встречи с нынешними учителями и школьниками я поспешил к заветному уголку детства. Но холм был мертвый: о родниках ничто не напоминало.

Богато выглядевшие нуворишевские дома-терема по берегу Дона казались бессмысленными в селе, потерявшем главное богатство — родники. Почему они однажды отвернулись друг от друга и потекли один — на запад, другой — на восток?

Может, истекая из глубин сообща, а не поблизости друг от друга, будь они вместе, беды бы не случилось?!

## ПОТЕРЯНА ФРАНЦУЗСКАЯ БОЛОНКА

На людном проспекте, на бетонном троллейбусном столбе — объявление: «Потеряна собака породы французская болонка. Приметы: белая, курчавая, на спинке и на ушках кремевые пятна, кличка: Пуся. Нашедшие будут щедро вознаграждены!!!» И адрес.

Кто теряет отцовский дом, кто близких, кто жизнь свою, а тут... бо-

лонка. Ну, что ж, может, для потерявшего или потерявшей болонка — самое близкое, что у них есть; но прочитавший объявление меньше всего думал об этом, глядя, как мчатся «скорые», «скорые», «скорые», а их, считая секунды, ждут матери, дети которых исходят сорокаградусным жаром болезни.

А собаки и собачки, украшающие, стерегущие, природоединящие нашу жизнь, разные они, как и люди?

Собаки, лучшие друзья дома, случается, загрызают малых деток, и их родители теряют радость жизни, запоздало почувствовав изглубинный, горячий, враждебный блеск хищных глаз.

Собаки-псы удовлетворяют жаркий плотский голод нетривиально распутных женщин, и что таким женщинам любые мужчины, дети, семья?!

Собаки собираются в страшные стаи, обживают мертвые города, и горе тому, кто окажется поблизости.

## КОНЬ И ВОИН

И когда, с детской поры, перед мысленным моим взором разворачиваются свитки истории, всюду и везде я вижу коня — на поле брани и на мирной ниве, на цирковой арене и на механически бесконечном кружале, впряженного в военные и спортивные колесницы, в городские тарантасы и деревенские подводы; коня, вечно что-либо или кого-либо везущего, прекрасного и самого терпимого к человеку невольника, какому разве что стригунком выпадает проскакать на воле.

Я не мог не написать повесть о коне, разумеется, зная, что о нем написаны тысячи книг, зная, что и тысячам книг не передать страданный трагический, героический, поэтический путь коня.

Один эпизод из неисчислимого их множества. Дон. Глухой, далекий от станиц прибрежный, в вербах, затравельный поясок. У берега, почти у самой воды, раненый (Гражданская война) всадник, не приходя в себя, лежит день, второй, третий... И возле, чутко и преданно вперив в родного наездника крупные, как сливы, до блеска темные глаза, стоит конь — день, второй, третий...

## РЕЛИКТОВАЯ РОЩА

И в далекой древности, и ныне могла бы роща радовать предков и современников раздольными холстами берез и медью сосен, но никак не выростала на крейдяной почве, на почти отвесном малотравном спуске от верхней седловины кряжа до низинного луга.

Внизу, у берега знаменитой реки, росли большие осокори и вязы, а реликтовая рощица из кривоствольных, меньше роста человеческого берез и сосен не задерживала взора местного народа, разве что в последние годы интересна стала для геологических студенческих экспедиций. Правда, сразу после войны никакие экспедиции сюда не добредали, но теперь кривые деревца для прибывающих со всей страны, со многих уголков мира дороже любых могучих осокорей и вязов, секвой и эвкалиптов, размашисто укорененных на близких и дальних землях.

Поживший и повидавший разные времена и страны, я кричу из раннего своего детства: «Это моя родина! Все пожалуйста, хоть изо всех стран снаряжайте экспедиции, только ничего не рубите, не крадите, не рвите с корнем!»

Гора, затерянная на одном из островов Тихого океана, была прекрасна. Высоко она вздымалась: не ниже Монблана, Эльбруса и куда выше Фудзиямы. Вечно бесснежная и вечнозеленая, с тысячами разнообразных древесных пород, никогда не мучимых короедами, жуками и червями, она была и геометрически совершенна — вся, как наряженная елка, уходящая в поднебесье.

А с недавних пор туда устремились полулюди-полуроботы. Медленно взбирались по крутизне самосвалы — ползли, как гигантские модифицированные навозные жуки, по нитям проводов тянулись вагонетки. С самой макушки, уменьшая рост горы, снимался грунт. Что там? Золото? Серебро? Алмазы? Чем хотят осчастливить живущих глобальные дельцы, все дальше и выше поднимающие заграбастые длани? Человечеству, неужели ставшему обществом только потребления, что там еще должно потреблять, придуманное их учеными-клерками? Разумеется, палаты и офисы мировых владык располагались вдалеке отсюда и даже неизвестно где.

И оказался здесь на других не похожий горный инженер — тихо восторженный, сочувственный и благодарный миру Божьему. Плененный величием-великолепием богоданной горы, сразу не принявший здешнего разрушительства-добывальчества, он сразу и почувствовал, что ему отсюда не выбраться.

В первую же ночь ему приснился поразительный сон, который он, вмиг проснувшись, мысленно назвал золотым сном современного человечества.

Во Вселенной рядом плывут два огромных ковчега. На одном — шакалы, гиены, гнус, саранча, клопы, жуки-древоточцы и прочие кровопьющие, кровососущие, пожирающие. Из ковчега их никуда не тянет, потому что внутри припасено им еды и крови до того дня, пока они не приспособятся питаться взнезменной атмосферой.

В другом ковчеге — из чистого золота, размерами, быть может, с Нью-Йорк — крупнейшие финансисты и их обслуживающие (и вместе с тем кричащие о свободах) политики и политехнологи, певцы, стихотворцы, ученые, журналисты-публицисты, адвокаты, тоже — крупнейшие из крупнейших, виднейшие из виднейших. И все они с молодых ногтей мечтали о злате-богатстве, о славе, о бессмертной жизни, и все это отныне даровано им на необозримые времена. Вечный золотой ковчег — хранитель золотого человеческого миллиарда, венец нового дивного мира.

Далеко-далеко, за сотнями веков и пугающими цифрами километров, неуютно вращалась Земля с разрушенными кладбищами неисчислимо погибших хомо сапиенс.

А при той прекрасной горе, обвитой железным спрутом добывальчества, никакие сны не поощряются. И горный инженер наутро исчез бесследно.

## ПУСТЫЕ ДОМА В ПУСТЫНЕ

Он на снимках — словно бы наяву — видел следы американской атомной бомбардировки в Хиросиме, но то, что открылось-приснилось ему теперь, было страшнее — жутче. По всей бесконечной и за четыремя горизонтами пустыне были навтыканы дома-многоэтажки, они вздымались

с пустыми глазами окон; казалось, что однажды исполнинская сатанинская сила собрала сюда миллиарды людей (заселение пустыни? весь мир — пустыня?), собрала всех вместе — и враз потравила ядовитыми газами, изготовленными для мировых войн. Потравила человечество — до последнего младенца.

Собачий вой, откуда взявшись, стал невыносим. Лаяли и выли тьмы, и тьмы, и тьмы огнепалых, разрушительных глоток. Вдруг (сколько их? или они сбежались сюда со всех уголков убитой, когда-то зеленой земли?) в каждом окне (миллионы окон) показались по две собачьих морды. Почему-то — по две... Они на миг замерли — словно перед фотокамерой, словно жаждая быть увековеченными в мириадах однообразных «портретов». Невесть сколько прошло часов или дней — и сокрушающий вой понесся над планетой, заволакивая ее жарким дымом и ужасом.

И он уже не смог проснуться.

## РУДОЛАЗЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Это был один из лучших из заповедников среднерусской полосы, основанный в тяжелейшие для страны времена, на третьем году советской власти, когда собственность становилась государственной, общенародной. И на протяжении десятков лет радовал он несравненными дубравами, озерами, старицами казачьей реки, березовыми рощами, редкими травами, птицами, зверями.

Постепенно, правда, стали усыхать дубравы, перевелись зубры. И все же заповедник жил, хранимый человеком и дававший окрестным селам и деревням полноту и сокровенность природного бытия.

Давно ученые-геологи обнаружили в заповеднике и близ золотоносные и никелевые жилы, и, как только по стране содеялось победное буржуазное шествие со всем подобающе-неподобаящим (рынок, мародерство, распилы государственного, народного добра, частнособственнический злой капитал), объявилась похватистая дюжина горнодобывающих компаний, и, как водится в бизнесе, право на добычу выиграла самая сильная, с наилучшими повсюдными связями и коррупционными щупальцами — куда там осьминоговым!

А из шурфов и раскопов тянет отравой — словно серой. Словно потревоженная, изувеченная утроба земли таким образом напоминает и мстит «венцу природы». Достойные люди в этом малодостойном предприятии немного могут, и что тогда может предчувствующий свою гибель прежде многозвучный заповедник?

## ПТИЦА ЛЕТЯЩАЯ

Она летела через жизнь дочеловеческую и человеческую. И горы, и реки, и поля, и города, и бедные деревушки — все открывалось ее зорким глазам. В этой птице сопрягались три птицы — орел, жаворонок и воробей. Над всей землей парил орел, не особенно вглядываясь в суету человеческую. Жаворонок же сочувствовал косарям и жницам страдной поры, жаркой, безмашинной, пыльной. А воробей клевал по зернышку из вороха пшеницы и радовался ежику, который семенял неизвестно куда и был для воробья стократ лучше кошки, собаки, лисицы.

Многодетное семейство ежеиков обосновалось на выезде из деревни, под стогом сена за плетнями хаты. Скорей всего, это было не единственное ежеиково гнездо (не оттого ли и деревня носила забавное название «Иголочка»): иглоколючих зверят нередко встречали у донского берега, куда они спускались на свой водопой.

По утрам ежики резво выбирались из покоящегося на скрещенных длинных и толстых вязах сухотравяного их скрывала и, резво и чуть переваливаясь, подобно утицам, торопились через дорогу, к оврагу, где струил крохотный родничок. Их было семеро — родители и пятеро деток. Семилетний мальчик послевоенного времени (а это был я) любил наблюдать за ними, пусть и иглоколкими, но такими беспомощными, мирными, добрыми, что хотелось за ними постоянно приглядывать, пасти их, как недельных цыпляток. Утреннего этого водопоя я никогда не пропускал, наказав маме будить меня в одно время, задолго до их трогательной перебежки через малоезжую дорогу.

...Тяжелый трофейный мотоцикл, вздымая пыль, на грохочущей скорости вылетел из-за поворота, вылетел, словно рулем управлял пьяный (то и был, как я тем же днем узнал, пьяный представитель районной власти); я инстинктивно зажмурил глаза, а когда открыл их, когда пыль рассеялась, увидел на дороге два раздавленных тельца — взрослые ежи осиротели двумя детками, а ежики — двумя братиками.

Мы с мамой похоронили ежат в овраге, подальше от родника, но так, чтобы его родниковый источник открывался оттуда: мне тогда казалось, что они, погибшие, увидят своих родных, когда те снова появятся у родника.

С той поры... Нет, я не возненавидел мотоцикл, сам гонял на нем в молодости, принимал как само собой разумеющееся и иной колесный парк. Но я возненавидел пьяных. С той поры и на всю жизнь я возненавидел пьющих и всех, чем-либо давших себя одурманить, всех остро-нервно-злых, в часы темного приступа выходящих или выезжающих на люди.

## БОЖЬИ КОРОВКИ

По весеннему, летнему, осеннему солнышку мальчик часами мог пребывать на полянке примыкающего к подворью семейного сада. Здесь ему в любой травинке, в любом жучке и паучке открывалась сокровенная жизнь природы. Особенно чем-то неизъяснимо родным, столь же тайным, сколь и открытым, притягивали взгляд муравьиный холмик-дом и едва обхватистый детскими руками спиленный вяз, деливший густотравную, дикими цветами пестревшую полянку на две равные части. Муравьи, еще больше пчелы, представлялись мальчику самыми дружными и честными тружениками на земле, и он зачарованно наблюдал за муравьиным снованием, как и за пчелами, жужжавшими в близкой вишневой белоцветной кроне или степенно собиравшими взятки из совсем близких одуванчиков.

А еще непонятная кому и чему благодарность занималась в детском сердце, когда он подолгу разглядывал спил вяза, густо усеянный островками из красно-алых, с черными точками букашек — божьих коровок; те

сонно-недвигно грелись на солнышке, в здешнем краю их и самих нередко называли «солнышками».

Мальчик всегда горевал, когда натыкался на косогоре за околицею села на кем-то разворошенный муравейник, когда видел раздавленных пчел и божьих коровок. Но здесь, в родном саду, им ничто не грозило, и мальчик мечтал, чтобы всем муравьям, пчелам и божьим коровкам жилось мирно и спокойно, как в его саду, а всем добрым людям было так же хорошо на душе, как ему на заветной полянке.

Через семьдесят лет. Он уже не мог горевать — знать и видеть, как на месте его родного сада появилось клубное плоскокрышее здание, а вокруг — сплошной асфальт с авангардистски вылепленной клумбой перед фасадом. Не мог, угасший, знать и другого: на избытке соседнего села в большом молодом саду задумчивый, очарованный мальчик, веснушками детства похожий на него, тогдашнего, часами просиживал в укромном травянистом уголке, вглядываясь в непонятную, неизъяснимо притягательную жизнь муравьев, пчел, божьих коровок... И мечтал тот мальчик, чтобы всем им жилось мирно и спокойно, а всем добрым людям на земле было так же хорошо на душе, как ему на заветной полянке.

## КРАСНАЯ КНИГА ПРИРОДЫ

Да, Красная книга природы, именно КРАСНАЯ... от крови раненых и убитых зверей, от погубленных оружиевыми, химическими залпами птиц и отравленных пчел, от истоптанных муравейников, от красноглинистых утроб земли, изувеченной добычами рудных и иных ископаемых, от раздавленных земляничных полян...

Кровь их на нас!..

## ПОЛУДЕННОЕ ПОЛЕ

Не море, не горы — эти величавые образы природы, своими глубями и высями всегда напоминающие о Божественном, а иногда и — об inferнальном, не влекут и не волнуют меня так, как бесхитростное срединнорусское поле в полуденный июньский час. Чистыми волнами тихо взмывают поспевающие хлеба — ячменные, пшеничные, ржаные; терновники темными каплями-островками плавают в них; большие и малые птицы, словно перистые стрелы, пронзают близкое далекое небо...

Ничего особенного, сказать и так. Но для меня здесь и начала, и концы. Может, оттого, что я и увидел Свет Божий именно в поле, в ласковой необозримости простора, в предвоенном июне. Может, оттого мне и венециановские картины нравятся, хотя не всю полноту крестьянской полевой страды, не всю правду вижу в них, да что ж, нравятся! Особенно эта: жатвенный день, облака, поле в снопах, крестьянка на ниве, серп в руке.

И полвека не прошло, а как же изменилось мое срединнорусское, придонское поле, да и всеземное — тоже! Новостройки, машина и железобетон теснят и удавливают его, лишая раздолжности, силы, божественной величавости и предназначенности.

И понимаешь старика, который отдал всю жизнь полю, изорвал на нем все жилы и, однако, горюет по уходящему или вовсе ушедшему полемому бытию, в котором солнце, дождь, глубокий снег, ржаной колос, косовица нивы освящали бытие местносельское. Старик-крестьянин и космос.



Казалось бы, великие поля сражений (до того — великие лесостепи или великие нивы) останутся навсегда трагически мемориальными. Так нет же! Я исходил их — поля Куликово и Приполтавское, поля Аустерлица, Бородинское, Прохоровское, поля сражений у Лейпцига, Кенигсберга, Берлина... И многие эти уголки мира нынешнего — торговая суета.

Но прошлое не дает себя подмять вконец, и наиболее чуткие умы и сердца мысленно видят трагически-героическое страдное прошлое — не только общие картины, где грохот, дым, стоны раненых и крики наступающих; они видят их неповторимые лица, полные отваги, тоски и надежды.

\* \* \*

Ты, сын природы, победил природу —  
Ты дерево священное срубил,  
Ты не однажды птицу погубил,  
Ты гнал коня через поля и годы.  
И мир природы — словно весь в коросте,  
А мир людской — что яростный вокзал.  
Стоишь один на черном перекрестке —  
Своей гордыни черный пьедестал.

## СЕМЬЯ

*С детства семья мне казалась незыблемой, надежно плывущей по жизни ладьей, и разве что смерть кого из близких могла ее качнуть. Для меня дорогими была не только моя семья, но и соседские. Было чувство мира и локтя, а не разделительной межи, из-за которой не за понюх табаку можно разойтись врагами.*

*А потом я стал видеть разведенные семьи и однажды прочитал дневниковую запись великого семьянина Снесарева (великого геополитика, мыслителя, ученого, педагога), с любимой женой Новый год (семнадцатый — для России роковой) встречавшего в монастыре. И даже их многолетием проверенное двуединство, их семья редкостной веры и верности, иногда — словно на разных берегах, на разных языках. И пронизательный знаток общественного мироустройства и человеческого сердца вынужден признаться дневнику в искусственности, условности и «неестественности» человеческого брака... Тем не менее брак, а строже и глубже говоря, — повенчанность жениха-мужа и невесты-жены — несомненная, свыше дарованная ценность, в конце концов, пусть и часто счастливая привычка, отсюда и страх разрушить даже крепкое, но всегда хрупкое здание — семейное гнездо.*

## СЕМЬЯ-ОТЕЧЕСТВО В ВОЙНЕ

С древности я не хотел войны, но род мой, как и все малое и большое Отечество мое, вынужден был почти непрестанно воевать. Разумеется, трудно поверить, что я и мои братья — участники битвы на Чудском озере, Куликовской сечи, обороны Троице-Сергиевой лавры, Бородинской битвы, несчастного сражения-поражения у Мазурских озер. Но то, что я своими глазами видел огненный пал последней, самой страшной войны, не только на государственном уровне, но и в народе прозванной Великой

Отечественной, — никому не придет в голову отрицать: взглянуть хотя бы на мою метрику.

Эта самая Великая Отечественная напряглась, остановив наше отступление на берегах Дона, у моего родного села. Дон стал разделительной чертой воюющих на протяжении сотен верст; и сколь же выигрышны были позиции германских, итальянских, венгерских, румынских, хорватских, финских команд, которым с высоких правобережий открывались наши защитные линии на песках, видимые, как темные ветки на белых снегах.

Тогда маленький, я, разумеется, винтовки в руках не держал. Но какими зоркими глазами я углядел в те месяцы, даже годы, жестокий и... спасительный образ войны!

Лобовое и в основе справедливое деление на «наших» и «не наших» не всегда свидетельствовало о том, что «наш» — непременно образец всего лучшего, а «не наш» — носитель самого худшего.

Это немецкий врач спас мне, малолетку, жизнь в лазарете, расположенном в здании земской школы, в которой до войны училась моя мать и учительствовал мой отец. Это немецкий комендант, может, уважая седины дедушки, вернул нам угнанную итальянцами корову — кормилицу семьи. Это германский офицер не дал расправиться с моим троюродным братом-подростком, когда тот у спящего сержанта стащил портсигар и обойму патронов.

Колупатро, был, пусть и кратковременный, фашистский концлагерь, были высокомерие, надменность, жестокость чужепришельцев, у которых бедность деревенских хат вызывала презрительные усмешки.

А с другой стороны... для семьи обидное, заставившее погоревать разведчик, советский солдат, не нашел ничего более разумного, как, схватив снопы соломы, запалить их на крыше нашего крепкого рубленого, чудом уцелевшего под обстрелами дома, подавая таким образом знак, что неприятель отступил. Дом сгорел дотла.

Но все искупалось одним великим: освобождение! И, уже освобожденные, мать, дедушка, бабушка пропадали в страде с утра до ночи: «Все для фронта!»

И даже я (тогда популярной была фраза известного публициста, писателя, баловня верховной власти: «Убей немца!») подвигал отца вперед вложенными в письма листками, в которых малевал наступающих русских и на одном из которых, ведомый маминой рукою, в младенческом невежестве повторял беспощадный призыв публициста.

Каждая семья была тогда маленьким отечеством, и, как и большое Отечество, каждая семья рвала жилы и отдавала все силы для Победы.

## ДОЖИВАЮЩИЕ МАТЕРИ

Две больших семьи... Два века их предки жили в селах друг напротив друга, на противоположных берегах Дона, не забывая, откуда пришли их отцы и деды. Семьи были труженические, в тридцатые — раскулаченные, разбросанные по стране; война обе семьи не то что переполовинила, а вовсе отняла у отцов всех — семерых — сыновей. словно дубы лишились главных корней. Из двух семей лишь двое сыновей оставили после себя ростки: у семьи на правом берегу — сын, у семьи на левом берегу — дочь.

Двадцать лет спустя не знавшие друг друга семьи нечаянно породнились. Счастливо породнились. Выпускники университета, Георгий и

Вика, оба приглашаемые в аспирантуру, не остались в университете, а вернулись в родные места и в райцентре стали преподавать в педагогическом техникуме.

Шли годы. И многими хорошими воспитанниками могли бы гордиться они, также и своими четырьмя сыновьями, выросшими в красивых, честных, улыбчивых парней. С общей разницей в четыре года, они были крепким кровным братским союзом. Осенью пошли в горы (их почему-то с детства всех тянуло в горы) и погибли при сходе лавины. Молодые, еще неженатые. И не продолжились ими семейные ветви...

Две большие семьи истаяли тихо, малозаметно. Остались две матери — словно две былинки. Иногда добредут до берега донского. Поглядят на родные села — да их и сел-то не осталось! Так — доживающие...

## СЫНОВЬЯ И НЕВЕСТКИ

Когда-то красивая, увядшая женщина лет за семьдесят долго и бесперебивочно рассказывала своей родственнице, приехавшей с Дальнего Востока в среднерусский город своего детства:

— Помнишь забавный анекдот? Мать говорит о сыне и невестке, мол, мой сын — счастье любой жене: трудяга, золотые руки, семьянин добрый, непьющий; а жена — досталась же такая неумеха! Ленивая, грубая, вздорная. Далее. Мать говорит о дочери и зяте. Мол, моя дочь — награда любому мужу: пробивная, добычливая, мужа держит в ежовых рукавицах. А муж — пустодельник и выпивает, и денег мало зарабатывает. Так вот, у меня... аж пять невесток. Спросишь: откуда столько на троих сыновей? Тяжелый рассказ, да не тяжелей судьбы.

Юра дважды женился — по-хорошему люди разборчивые и порядочные таких в жены не берут. Первая, богатенькая и злая, хотела верховодить во всем, а он, хоть и добрый, да несправедливости и злой ее расчетливости и жадности не потерпел. Разошлись при маленькой дочке. А вторая жена, уже гражданская, такая вся ласковая, обходительная, предупредительная... Наверное, на первых порах и любившая его. Вскоре, однако, сын и в ней обнаружил фальшь и жадность: все к себе пригорнута... По наступившему рыночному времени торгоделкой она оказалась, конечно, не первостатейной, но торговческая жилка враз оживилась. Сын (настал день) собрался уйти к другой, полюбившей его женщине; видать, забыл народную примету: всякая последующая жена редко бывает лучше предыдущей; но тут мы, отец и мать, встали: «Детей не нажили, но годы-то прожили вместе. Пусть даже — вроде бы вместе». Что, спросишь, дальше? Когда гражданская его жена с моей, ничемной для сына, помощью заполучила брачную печать, тут же и словно сорвалась откуда, такой истерической враждой заполыхала к нам! Когда Юра погиб, затеяла что-то вроде интриги из-за сыновнего, по большей части наших трудами и средствами добытого наследства. Зачем, скажи, зачем?

А Сережке судьба вроде бы и улыбнулась. Вера хорошей, заботливой женой стала, семейная, чуткая. Как молвится, жить бы поживать да деток наживать. Только рано угасла невестушка: свела в могилу страшная болезнь крови. Он долго хранил ей верность-память, долго холостяковал. От тоски уехал на Крайний Север. Там-таки женился (тоже хорошая молодлица встретилась), дружно зажили, двое малышков родились, но оба тяжело и постоянно болеют; понятно, Сережа и Таня в Москву на лечение их возят, все им отдают — и душу, и время. Даже не удастся приехать навестить нас, старых. Может, думаем, и мы бы смогли им чем помочь.

А с Ниной, вдовой Гены (знаешь, на стройке он погиб), мы вместе мой век доживаем. Она еще молодая. Говорю: «Выходи замуж». А она: «Мама (она зовет меня мамой), поглядите, вон вяз на границе сада. Мы там впервые в любви признались. Вяз мне каждый день, каждый час напоминает о Гене — моем коротком счастье. Было счастье, а за вторым... вы же знаете, я не из охотниц менять прошлое счастье на новое. Да и дочь не простила бы...» Дочь Нины и Гены, внучка наша — славная девчужка... И любила, и любит отца без памяти. Редкая по чуткости и отзывчивости. Сейчас таких мало.

И от Юры, уже говорила тебе, есть внучка — она постарше, во всем другая, инопородная, ни своего, ни чужого не упустит, у нее по нынешним временам хорошо выстроенная жизнь. Не так давно уехала с мужем в какой-то «силиконовый» американский штат, пишут, что хорошо им там, лучше, чем на родине.

## ОТЕЦ И СЫН-ОТЕЦ

Отец возвращается в сына. Возвращается, когда наяву, да и в редких снах, вспоминает себя взрослеющим сыном, совершающим ошибки, а его отец — воин, учитель и строитель — пытается увести его от явно видимых ошибок. Отец просит, приказывает, умоляет. Сын не отвечает «нет», но не отвечает и «да».

А теперь он, сам давно отец, ранимо понимает, как сын повторил его же ошибочно-разломную жизнь. Как его сын, вопреки родительскому видению-остережению, женится, может быть, на одной из самых злых девушек города — пусть и богатых, холодно-красивеньких; женится, чтоб вскоре разжениться. Как он уходит с традиционного места службы на новоявленное, зарабатывает немало денег, и чем больше их зарабатывает, тем хуже ему становится. Как изнашивается он физически в соотдыхах и встречах с недобрыми, «банными», «зельепьющими» дружками, хитрящими и просто обкрадывающими его, огорчающими его сердце.

И в этом трагическом изломе сыновней судьбы он видит себя самого, пусть лишь частицу себя самого, — того нерадивого сына, из-за своевольства, упрямства и метаний которого, может, преждевременно появилась могила его отца на Аллее Славы — главного городского кладбища.

Он, редкие дни пропуская, с утра бывает на отцовской могиле, затем едет на другое загородное кладбище, где похоронен его сын. Слово продолжает жизнь троих, в которой он ходатай и подсудимый. Только он! Резко постаревший, он ждет, когда трое соберутся вместе в иной жизни.

Все бури природные, все политические бури, все суетные страсти — позади, мировые и житейские вопросы куда-то подевались, как искусственные и ненужные, и лишь один вопрос — то с токами надежды, то без надежды, заставляя светлеть его лицо или погружая в скорбь, постоянен на душе и сердце: встретятся ли они там, на небесных пажитях; только бы — на небесных!

## УШЕДШИЕ ОТЕЦ И ДОЧЬ

У всех знакомых вызывала добрые чувства эта небольшая семья. Отец — директор одной из лучших городских школ, мать — воспитательница детского сада, достойная, добронравная женщина, а дочь их Ника — умница, душевная, глубокая натура, добрая, кроткая, сильная, красивая.

ца из красавиц; будь некий всемирный конкурс красавиц (беспристрастно-справедливый) — всходить бы ей на пьедестал первой из первых. Родителей своих она обожала, как нынче не обожают, — беззаветно, порывисто, бескорыстно; с отцом имела обыкновение побаловаться в его кровати, пока в десятилетнем возрасте не пришло время застесняться.

А потом ей стало шестнадцать. И однажды она (мать была в отъезде) среди ночи нырнула к отцу в постель. Тот похолодел, покрылся испариной. «Папа, я никого не смогу полюбить! — с отчаянной скороговоркой призналась она. — Я всю жизнь буду любить только тебя! Обними меня, как в детстве!»

Прошло три невыносимо-сладостных и греховных месяца отца. Через три месяца его — холодного — вынули из петли.

А через три года Нику нашли мертвой в постели отца, всюду были разбросаны флаконы, таблетки со снотворными, обрывки блокнотных листов с незаконченными строками...

И только на прикроватной тумбочке четко, бесповоротно, сильным девическим почерком, крупными буквами было написано: «Я ухожу к тому, кто одарил меня жизнью земной и любовью».

## СТАТИСТИКА

«Статистическая отчетность, форма № 92... Отчет высылается лечебными учреждениями, производящими аборт, в райгорздравотделы второго числа следующего за отчетным кварталом месяца» — деловитые, равнодушные слова, мелким шрифтом напечатанные. Оказывается, есть и такие отчеты — спокойно об убийстве предмладенческих душ...

Мой первенец, мой нерожденный сын... в часы обессиляющих ночных бессонниц как мучаюсь, как тоскую по тебе и без тебя, мой первенец, мой нерожденный...

## И ГДЕ СЕМЬЯ ТВОЯ?

Полстраны разметало по стране и земному шару.

Троих братьев моего дедушки изжевала гражданская война. Еще одного, священника местной церкви, сослали на Колыму, где ненаходимо затерялись его следы. Мои дядья разъехались сразу после войны — изредка навещались в родные края с Дальнего Востока, Урала, Кавказа... Мои тетки повыходили замуж еще до войны, и их мужья увезли своих ненаглядных в дали дальние. Дедушка по отцовской линии, великой мастеровитости труженик, и бабушка-страдалица, прожили жизнь в беззлобии, сострадании и вечной помощи соседям и знакомым из близких деревень и дальше родного уезда никуда не выезжали.

Мои отец и мать — для меня целые вселенные, земные начала и концы. И о них бы можно написать исполненную благодарности книгу жизни, но сын оказался не столь радивым, по-настоящему так ничего о них и не сказал.

Мои сыновья, талантливые и душевно открытые, которых я не сумел воспитать в разумно-строгих правилах, не укоренились в сильных почвах, и ломало их так, что теперь за недовоспитание их мне отведено разве что иссушать себя повинной исповедью каждую ночь, каждую ночь...

И вся наша большая семья лежит под крестами и мраморными брусками на больших и малых кладбищах, далеких друг от друга. А мне, дав-

но уже нездоровому, и жене, угнетаемой ныне тяжкими хворями, а когда-то озаренной и одаренной всеми достоинствами юной девушки, ничего не остается, как дожидаться, когда навестят нас младший сын и милые внуки, нередко болеющие так, что тревога за них часто превращает ночь в сплошную бессонницу.

Семья? Родственники? Что за печаль? Только ли староукладники-архаисты видят стыдную поросль обновленчества и до диктат-общества пытаются достучаться: к побережьям атлантическим и странам приатлантическим уже подступило время неосатанистов, расстегнутых авангардистов, время, когда нет отца и матери, а есть родитель номер один, родитель номер два, да еще оба мужского пола (а почему бы и не три, четыре, пять?), когда с детства насаждается мешанина полов, когда ювенальная юстиция, гендерное воспитание, растлительная психология тянутся напроочь извести семью, чтобы живую ответственную жизнь сердечных, душевных волнений погрузить в немоту и мрак и тут же залить земные пространства плотоядным месивом из амебной мысли, лгущих обещаний, пошлых либерте-новаций. Тотальное, глобальное наслаждение, бесконечное, ежечасное, ежеминутное всякопотребление, комфорт-удобство и облегченность во всем! А семья — зачем «свободным гуманистам» еще и ответственность, и боль?!

\* \* \*

Сирень на родине цвела,  
Лучилась нива...  
Ты столь же верною была,  
Сколь и красивой.

Как с юного восстанешь сна  
Улыбкой-вестью,  
Помстится — на всю жизнь весна,  
А осень — есть ли?

И кров семейный светел был  
Под сенью сада.  
Но муж никчемно уходил  
В чужие грады.

И старший вырос сын. Да что ж? —  
Ушел куда-то.  
Стереть глазами — не сотрешь  
Надгробной даты.

Незримо тянется стена  
Потерь, падений.  
Давно закончилась весна  
Без удивления

И жизнь сложила два крыла,  
Поникла нива.  
...Такою верною была,  
Такой красивой!

Жене моей, семье моей —  
Молю, Спаситель,  
Дай вечный свет Твоих полей —  
Небообитель.

## РОДИНА

*Посох родины, посох мира... Для меня родина — в любой точке планеты, где я ныне, в этот миг, нахожусь.*

*И все же есть точка, пядень земли, которая объедает мое сердце, всего меня, моих родных и близких. Донская моя родина, село Нижний Карабут, как только ни названное на страницах моих книг! Отсюда — первые, всюду сущие виды: солнце, люди, деревья, травы, птицы. Белая волна реки. Кони на зеленом лугу. Первые нежные слова родного языка. Первые ощущения простора и бесконечности.*

### ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ, РОДИНА!?

Впервые почувствованная младенческим сердцем и младенческими глазенками молодая мама — Родина; река Дон, которую ты с тихим детским восторгом впервые видишь с высокого приречного холма, — Родина; в большом логу и по косогорам три полосы разбросанных изб и хат — Родина; испытание войной, разорение, бедность, вера в завтрашний день — Родина; горлицы и воронцы-пионы на придонских холмах — Родина; крестьянски-колхозные косовицы ржаных, пшеничных, ячменных полей, помощь детей своим матерям и изреженным войною отцам — Родина. Школа в бывшей церкви, впервые прочитанные Пушкин, Лермонтов, Гоголь — Родина.

И более сложное, юношеское чувство Родины, когда открываются не только пространственные, но и временные дали, и в долгом историческом пути неразделимы вершины и трясины — высокое и низкое, благородное и низменное, славное и позорное, заветное и предательское... Великая, бедная, несчастная, прекрасная Родина, столько испытывавшая войн и глумлений, поражений и побед, ты действительно — как впервые почувствованная благодарным сердцем мама.

Что ждет тебя, родимая, через десять, сто, тысячу лет?

Проницаем и боимся даже себе самим признаться.

### НАРОД ПОДВИГА И ЖЕРТВЫ

После отката на запад прежде невиданной войны в нашем фронтовом краю на минах, снарядах, гранатах все еще подрывались дети, мои сверстники. И таким образом часть нации, вернее, надежда нации продолжала уничтожаться. Фронтовики, уцелевшие на полях и холмах сражений, спивались от тоски, от ран, через табачный злой самогон. А молодые женщины калечились, еще во чреве, вынуждено или невынуждено, расставаясь со своими неувиденными младенцами. Старики, не дождавшись войны воинов-сыновей, скорее звали свою смерть. И таким образом — нация доламывалась?

Где четыреста-пятьсот миллионов русского народа при естественном эволюционном развитии жизни? Где монастыри, церкви и усадьбы? Где морально-православный кодекс?..

И он, исторически великий народ, уменьшается, уменьшается... Народ, у которого лихолетья выбивают лучших, народ, который не умеет беречь себя, народ великих подвига и жертвы.

И самая тяжелая победоносная война — война не только победы...

## ВОСПИТАНИЕ АРХАИЧНОЕ И НОВОЯВЛЕННОЕ

Всегда так было: любая травинка, любая изба, тропинка в лиственном лесу, васильковый проселок, клин палевой нивы, каждый осокорь у донского берега, каждый стригунок на лугу, каждый мирно воркующий голубь образуют эмоционально и эстетически, научают и просвещают! Настоящий учитель всегда это понимал, зная, что он воспитывает целое поколение, будущий народ, что именно благодаря ему человеческое народное многолюдье в трудный или радостный час обретает единство воли на военную и мирную страду, становясь непобедимым воином в защите Родины, а в победный час меняя грозные мечи на мирно-полевые орала. Мать, отец, дедушка и бабушка, школа, вечерние народные песни, косовица в поле, предания и страницы истории, светлой и темной, героической и трагической, вдумчивое прочтение великих русских от Пушкина и Тютчева до Толстого и Достоевского, иноязычных — от Гомера и Данте до Сервантеса и Гете, — все образовывало, научало, воспитывало!

И было после великой войны министерство образования и просвещения — народное министерство. Откуда же на перетоке веков и тысячелетий вылупилась эта «ливановщина» (был такой министр образования — некий Ливанов) — гнетущее, исходящее с верхнего бюрократического этажа поэтапное обездушивание и «переформатирование» школы? Что это за «образовательные услуги» (примитивный бизнес-рынок) и как при таких можно образовать и воспитать достойное поколение, помнящее совесть и честь? Образовательные услуги не дадут подготовить даже столь обруганных образованцев и образованщины, а выдвинут и выдвигают уже креативных, конкурентноспособных карьеристов-хватов, поощряемо спешащих в сугубые очередные временщики, разве что разбавляемых одаренными молодыми, которые, сколь ни провоцируют их художочными ЕГЭ, все равно прорастут талантами: но, сознательно не воспитанные в чувствах родины, не уйдут ли они в заморские лаборатории и транснациональные компании?

В массе же — кого и как образовывают и воспитывают (то есть напихивают подменами) всякородные временщики?

## СПОРЯТ НЕ ТОЛЬКО В ТЕЛЕВИЗОРЕ

— Ну и пьют ныне! Тихий океан осушили бы, окажись он из водки. Пьют без меры и не таясь. А вот перед войной, отец рассказывал, в сороковом, крадучись по одному, соберутся в какой избе, плотными одеялами занавесят окна, чтоб кто не подглядел да и не отослал письмишко куда следует, мол, запретное себе позволяют. А сейчас — хоть вся страна спейся, мало у кого сердце болит.

— Зато анонимок меньше пишут!

— Зато куда ни глянь — такую непотребщину шумногосят, пишут и показывают, что глаза и уши вянут.

— На каждый роток не набросишь платок. Это, брат, свобода!



— Что она тебе, такая свобода! Верхушечным финансистам да кормящимся у административных корыт в самый раз свобода изобретать мошеннические, шельмовские ходы, чтоб воровать и наживаться.

— Да забыл ли ты молодость? Эко сладкое слово — свобода!

— Наверное, ранние большевики и поздние коммунисты — не одно и то же.

Октябрьские большевички, племя безнародное, огнем, мечом да сатирическим пером выжигали народный уклад (конечно же, реакционный!), все вековые обычаи, все сердечные обряды. Сельского учителя, опять же отец рассказывал, на свадьбе у племянницы по старинному обычаю расшитым полотенцем перевязали. Свадьба не закончилась, а на него уже анонимка в районе: «Разносчик реакционных обрядов...»

— Да и теперь всякое и разное. Где обряды, где парады. Кругом большой фейерверк...

Хмельным беседам несть конца. Спорят молодые и старые, деревенские и городские — всюду серьезные испытания Отечества и чаще пустые бесконечные разговоры, монологи, диалоги; слова, слова, слова...

## ПАСЫНКИ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА

Ангар на военном аэродроме. Молодые летчики и технари затажно, без особой охоты пьют малопотребное злое зелье. Отец одного из них уверяет пьющих:

— Вы же толковый, умный народ. Зачем пьете, себя губите?

— А нас и без этого губят что в семье, что в стране, что в мире. Ле-тишь, бывает, в вечерний час — истребитель, кажется, весь свод небесный пронзает, высота десять километров, и чувствуешь, Бог от нас отказался — и от нас, и от наших заклятых друзей-ворогов.

Тогда отец идет на другой заход — с другой стороны.

— Но Отечество-то надо защищать. Кто его защитит, как не вы?

— Наше Отечество лишила силы и разворовала свора мародеров. Шайка внешних и внутренних ненавистников Отечества, — производит старший. Произносит не без усталости и ощущения большой потери-катастрофы. Ему, видимо, хочется передать незнакомцу общее настроение офицеров полка, причем со словами, далекими от почтительности и «толерантности». — Вот где перелом страны: люди становятся нелюдями. Из-за жажды власти, жажды наживы, жажды богатого комфорта. Эта перестройка-постперестройка у многих отняла образ человеческий. Проболтал и предательски сдал страну ставропольский неумеха, подкаблучник и трус... Страну, что лесную поляну, рыхлит с кабаньими шелко-глазками прораб с разлапистой «семьей»... К телу страны липко припали всякого рода кровососущие... Сколько их у государственного корыта! Да что о них! А у нас керосина на полеты не хватает, да и летчиков не хватает — лучшие уходят или их сокращают.

Он и сам — «из лучших», Герой Советского Союза, излетавший самые опасные трассы Отечества и мира. Он умолкает и уже не слышит других. Он думает о том, что если бы восстал русский офицерский корпус, еще со времен Семилетней войны, участвовавший и погибавший во всех последующих войнах, если бы к нему присоединились лучшие («Честь и совесть имею!») из офицеров других армий и в едином порыве, решительном поединке навсегда расправились бы со всеми мировыми спрутами и акулами ненависти, со всеми лжегосударственными, враждебными своим на-

родам лжеизбранцами-временщиками, со всеми пятыми и прочими себя шумнолюбящими и ничтожными по разуму и сердцу колоннами, тогда бы только, наверное, уместен был наивный романтический восклик: «Обнимитесь, миллионы!» Обнимитесь, миллионы мужественных, честных, страдающих, верящих...

## ПОВЕРЖЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ

«Не надо памятники ставить, чтоб после оных не крушить», — родились строчки в юности, когда на входе в центральный городской парк я увидел постамент, с которого была обрушена фигура Сталина. То был конец пятидесятых годов, время оттепельное и атеистическое. Многие надуваемые фигуры по всей стране карабкались на освобожденные постаменты, откуда сдергивались и большие бронзовые, каменные, бетонные фигуры, и вполроста изваяния, и небольшие бюсты. Через треть века в России вновь освободили постаменты — теперь уже от фигур нескольких одиозных, «пламенных и кристальных», из раннебольшевистского стана.

Прошло несколько десятилетий, и снова — уже в разных земных полшариях — тотальное избиение монументов... В Украине крушат памятники, напоминающие про русское и про советское. В Северной Америке, вновь распаяя себя до злости гражданской войны, принимают федеральные и местные «законы», по которым надлежит снести тысячи конных и пеших фигур, стел, обелисков давно побежденной стороны — Конфедерации южных штатов. Ату их!

Самое удивительное — какие значительные (принимаемые нами или не принимаемые, не в том суть) фигуры — герои этих памятников! Генерал Роберт Ли, почтенные президенты Джефферсон, Вашингтон, Линкольн, да и менее известные староамериканцы — люди подлинного, не «майданного» достоинства. А их крушители даже не могут рассматриваться в категориях значительности или незначительности. Или они — искажение образа человеческого, массовый гнус... Взбешенные, распираемые злобой и ненавистью «белые», «черные», «цветные» исполнители (и это в «цивилизованном» двадцать первом веке!) осатанело pinaуто ногами головы бронзовые, да и живые; и наводчики, купившие и вспоившие их ненависть, темные, спекулятивные манипуляторы-грантодатели-соросы и соросята, действительные современные рабовладельцы и работорговцы; они — не то что незначительны, ничтожны, но — без чести, совести и чувства справедливости. Через полтора века предъявить обвинительные счета людям крупным — это свойство мелких особей: богатых и бедных, финансистов и люмпенов, породненных в зависти и ненависти к истинно значительному; они заново «побеждают» молчаливые фигуры тех, кто когда-то возглавлял гражданские противостояния, пытаясь найти путь к примирению, а не розни.

Разгул злобы, ненависти, грабительства приближает конец культуры. И человека. И человечества.

Ненависть к евангельским истинам, к монархиям, империям, к царской власти, к советской власти, к какой бы то ни было власти, не им, соросам и соросятам, в данный миг принадлежащей, ранит и подминает силы любви.

В начальные большевистские антицерковные, антинародные, антинациональные времена сбрасывали колокола — шумно, многолюдно, трубогласно. Но поверженные — разбитые, в почвах и реках утопленные ко-

дымола несли из-под земли единый прекрасноразвучный дух не розни, а мира, любви и красоты.

А памятники... Как бывало раньше, до всемирных и всякоцветных революций? Память о людях, принесших благо «граду и миру», не взбиралась на большие и малые постаменты, а хранилась в сердцах человеческих. И улицы несли свою память — не цифирную, не именную, не временщически-преходящую, а корневую, изначальную. Сторожевая, Нагорная, Приречная, Казацкая, Кузнецкая...

Есть, разумеется, задумчивые люди, рассуждающие и так: любые улицы, любые памятники канут, любые о них страсти и слова сойдут, как дым от первых орудий враждебных средневековых противостояний.

## СОН ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПУТИ

Во сне, на противоположной стене, где в строгом складне висели портреты Пушкина, Тютчева и Достоевского, он увидел на полстены черные, ясно видимые строки, которые успел перечитать трижды, где соглашаясь, где не соглашаясь. Строки шли под крупным заголовком «Во вред России»:

Неуместная и нековременная Ливонская война;  
столь грубо и властно осуществленный церковный раскол;  
казнь стрельцов и предельное напряжение сил народных при Петре Первом;

польско-литовско-казацье-русская Великая смута;  
войны с персами и особенно войны с турками, которые возможно было по-умному завершить;

чреватое историческими бумерангами присоединение Польши, ее разных языков и наречий; если и надо было звать в пределы империи — то бывлые западные русские княжества от Новгорода до Киева, звать, конечно же, русинов;

отсутствие постоянного внимательного взгляда имперской и советской власти на Восток и разумных по отношению к нему действий;

неумение избежать французского нашествия, разор столицы и страны;

неумение избежать мировых войн — войн с Германией и ее союзниками;

февральский 1917 года переворот — из подлейших на земле;

Послепереворотное внероссийское, вненародное жестоковластие троцких, свердловых, лениных, сталиных, бухариных, зиновьевых, камневых, володарских, урицких, войковых, землячек, ягод; рассказывание, раскрестьянивание; годы сталинских плясунов и карателей, вроде хрущевых и берий.

Буржуазно-перестроечная Смута конца двадцатого века, туповластие и жадновластие горбачевых, ельциных, «семьи»; ложь, предательство временщически-властной верхушки; глумление над русским миром, разбойный бал мародеров, «семибанкирщины», темнобратии; шабаш пестрой пятой или какой там колонны. Не хватило здравого смысла, единства порядочных и достойных, не хватило пронизательности, чувства надвигающейся опасности. И русским, как воздух, требуется беречь время и собственное, и народное бытие, уходить от легковерной доверчивости, беспечности, шапкозакидательства, обращающихся жизнезакидательством; и не пить, не пустословить, не бездельничать, страдая от мировой

тоски; а более всего — созидать и молиться за ушедших, живущих и грядущих.

Были по всей Руси благословенные монастыри с библиотеками! Монастыри мира. А ежели надвигались на них враждебные силы — польские войска, то беспобедно месяцами топтались под стенами Троице-Сергиевой лавры, или если английские военные корабли приближались для победной осады Соловецкого монастыря, то скоро и удалялись восвосяи, несолоно хлебавши.

Где соглашаясь, где не соглашаясь, он перечитал настенные строки, и словно все тягостные испытания разных столетий, выпавшие его народу и стране, осязаемо ударили и по нему — он и во сне почувствовал явную тяжесть на сердце, тем большую, что давно уже знал, что не каждый эти испытания чувствует и понимает, знал, что в неисчислимом множестве выпархивают на свет театральные постановки, кинофильмы, интернетные «вести», книги, журналы и газеты, без стыда и совести лгущие о его народе и его родине.

\* \* \*

Родина — спасительное лоно,  
Родина — всерадость, всепечаль.  
Родина — услышать волны Дона,  
Родина — увидеть вечность-даль.  
Родина — что лиственная крона  
Над необозримостью полей.  
Родина, склоняюсь я в поклоне  
Пред судьбой единственной твоей.

## НАРОДЫ И СТРАНЫ

*Посох уводит в страны, в которых выпало побывать, и годы спутя я мысленно снова за пределами Отечества. В детстве я знал все государства, какие были на тогдашнем глобусе, во многих надеялся побывать.*

*От Индии, Китая, Японии, от Персии, Палестины, Греции, где за тысячелетия человек достиг вечносущих духовных и художественных вершин, до североамериканских и латиноамериканских стран, где мне надо было поквитаться с европейскими погубителями индейских племен.*

*От азиатских до европейских стран, из которых для меня необходимы были из-за последней войны Германия, Италия, Румыния, а по историческим мотивам — еще и Чехия, Моравия и Польша. В них и побывал, став взрослым.*

## СОСЕДИ

В детстве я так увлекался географией, что ни одна сколь-нибудь значительная, большая ли, малая ли тогдашняя зарубежная страна с ее реками, горами и городами не была иссмотрена, изучена мною, словно родная. Особенно меня притягивали страны, которые граничили с моей страдающей родиной, веками вынужденной воевать. Я, тогда пятиклассник,

из книг и разговоров знал, что граница наша на замке, что она не станет больше ни утесняться, ни расширяться.

Осмотр географической карты я обычно начинал с Дальнего Востока, и там все было спокойно. Китай, Монголия, а дальше среднеазиатские республики, которые, казалось мне, уже никогда не разъединить с Россией. Иран сложнее — знал про убитого посла-поэта Грибоедова. Турция еще сложнее — тут выпали многие войны с досадным для турок исходом. А далее Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия — без особых, мнилось, затруднений. СССР выходил к границе через Украину и Белоруссию, и мне, соединившему в себе восточнославянские (да и не только) крови, казалось немислимым, чтобы тут были рознь и недоброжелательство. Не представлялись опасными и прибалтийские республики: Петр Первый не только победил их шведского сюзерена Карла Двенадцатого и не только взял Балтийский край как победитель, но еще и «купил» Прибалтику, из народных жил Отечества вытянув фантастические десять миллионов ефимков.

А вот Польша... «Кто устоит в неравном споре: кичливый лях или верный росс?» Столь же опасной представлялась и страна Суоми. Финны в годы Великой Отечественной войны достигли Дона, часто были жестокосердны, может, еще живя картинами осенне-зимней лесной, озерной «той войны незнаменитой» на их родине.

Граница, рубеж, межа... В конце минувшего века мой друг-врач за получил от областной делительницы земельный участок в глубине других, ровно размеченных разделительными линиями и опоясками — малыми межами. И вот соседка моего друга, заведующая сердечным отделением, откуда иногда выносили укрытых простынями покойников, межевую черту потихоньку стала отодвигать (межи да грани — к споре да брани), несколько раз переставив разделительные метки; затем прорыла канаву, прихватив ею метра полтора чужого участка, четко вбив по ее желобку тяжелые, как для битвы, колья.

Тогда друг поставил прямо по канаве железную сетку, решив этим покончить с аппетитами соседки. Не тут-то было. Ночью сетка была передвинута так, что получился значительный срез прямоугольного участка. В субботу друг дождался неуемной дачницы и сказал: «Что мучаетесь, Гавриловна, эдакими маленькими шажками? Сколько вам надо? Утягивайте хоть пол-участка, мне легче будет обрабатывать остаток».

«Принцип Гавриловны» — вольно или невольно скаламбурил друг, соединив нашу героиню с Гаврилой Принципом, студентом-масоном, убийцей наследника австрийского престола.

Через полгода заведующая сердечным отделением скончалась от сердечного же приступа, а на ее дачу зачастили молодые и молодящиеся родственники-шалопай, которым для загульного отдыха хватало двухкомнатного домика, а весь участок скоро зарос дурнотравьем.

Границы, границы. Все они прахом посыпятся, но сколько крови людской, которая по большей части из воды состоит, но — не водица же!..

## ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ И «СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

В Дрездене едва не полдня безотрывно простоял я у «Сикстинской мадонны», и все связывалось: Богородица и Спаситель, картина гениального итальянского художника, наши солдаты, спасшие полотно — полотно, которому нет цены.

Как и «Сикстинская мадонна», замурованная фашистами в каменном подземелье, могла не сохраниться, не будь русских, советских солдат, так и я мог ныне не восторгаться ею: едва ли выжил бы в войне без отцовского аттестата, который был высылаем с завидной пунктуальностью; отец в войне остался жив, хотя не раз бывал ранен — под Севастополем, под Одессой, под Минском, под Варшавой, наконец, под Берлином.

В Западной группе войск я видел офицеров уже иных, думаю, не совсем похожих на солдат войны; они балагурили об отдыхах, о рыбалке, о женщинах, они чувствовали себя победителями без намека на страду и страдания, которыми сопровождается всякая значительная победа.

С такими неблагоприятными мыслями ехал в поезде из Дрездена в Берлин, из Берлина в Лейпциг, а еще побывал на Зееловских высотах, пытался увидеть, как на те высоты мой отец поднимался в атаки, а еще в Трептов-парке долго думал о том, чего нельзя точно определить ни красками, ни словами: как все здесь и в мире разительно изменится даже во временах не далеко-будущих, а скорогрядущих.

### ЛУЧАФЭР

Осенью 1942 года в вечерний час на высоком донском побережье стоял румынский офицер, хорошо знавший романтическую поэму рано угасшего поэта Эминеску, поскольку его отец, профессор Бухарестского университета, был специалистом по Эминеску. Вечерняя звезда горела ровно. Вчера он стрелял из пулемета и, кажется, проредил тех, кто пытался перебраться на правый берег Дона. Они были национальными и наверняка духовными потомками любимых им Пушкина и Лермонтова, и ему было гадко. Но тут раздался тонкий писк неотвратимой пули, и последнее, что послышалось ему: «Мы квиты». Он упал навзничь, глазами вверх, и увидел эту звезду, название которой — «Лучафэр» постоянно звучало в его доме в Бухаресте.

Лет пятнадцать спустя выдалась мне поездка в Румынию. И как тесен мир, как прихотлива судьба! — в Бухаресте я встретился с девушкой, которая оказалась дочкой отца, убитого на Дону, внучкой специалиста по «Лучафэру».

### ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО

Да, среди пластинок детства эта была — самая любимая. «Полонез» Огинского я прокручивал, случалось, несколько раз на день. Правда, когда взрослым бывал в Польше — не слышал его, кроме...

Кроме того дня, когда мы с женой и ее матерью приехали на воинское кладбище, где был похоронен отец моей жены на германской, Польша переданной земле. Необозримое солдатское кладбище, меньше — офицерское. И там, в глубине его, на дальней окраине, могила Михаила Калинина... Мы каждый день бывали на кладбище, и каждый раз звучал тот самый полонез из раскрытого окна ветерана Войска Польского, который волей случая был в наступлении в тех же местах Польши и Германии, где наступал и мой отец, и отец моей жены. Разумеется, воспринимался полонез иначе, нежели в детстве, но, тем не менее, рождал много мыслей о славянском мире, его трагической разъединенности.

А потом мы добирались до Варшавы в общем вагоне, и хмельные

польские ребята-работяги хвалили русских девушек, а заодно и Россию, и звучал магнитофон — звучал «Полонез» Огинского. И казалось, никакой вражды нет в мире, коли есть эти веселые ребята — зла не хранящие потомки Речи Посполитой, и кротко мелькают польские поля и деревни, едва видимые в ночи, и верилось, вмиг готовые проснуться и открыть двери помощи, случись на железной дороге всегда неожиданное крушение.

## КРЕСТИТЕЛИ АЗБУКИ НАШЕЙ

Память возвращает в осенний день 1987 года, когда я стоял на зеленом берегу Моравы и мысленным взором пытался отыскать не одни лишь оборонные валы и разбросанные камни, но цельный образ славянского града.

И словно бы доносились голоса Кирилла и Мефодия, здесь просветительствовавших братьев солунских, первоучителей славянских, создателей азбуки, буквами которой написаны «Слово о полку Игореве» и «Слово о законе и благодати», средневековые славянские жития и повести, «Евгений Онегин» и «Кобзарь», «Горный венец», стихи Христо Ботева и Янки Купалы, «Война и мир», «Преступление и наказание», «Столп и утверждение истины», «Тихий Дон»...

Микульчице русскому читателю, даже и начитанному, мало о чем говорит. А во времена, когда в Великую Моравию были призваны просветительствовать солунские братья, Микульчице являлось одной из моравских твердынь, отмеченных разного рода хрониками.

Благодатный для всего славянства край — моравская земля. Здесь Священное писание из уст Кирилла и Мефодия впервые зазвучало для широкого народа по-славянски, здесь страницы Евангелия благодаря созданной братьями кириллице стали понятными простому народу и всему славянскому миру.

Великая Моравия, правда, долго не продержалась. Извечная славянская беда — разобщенность, междоусобица, когда ветви корня не помнят...

А что же Микульчице? С веками от христианских храмов остались битые камни, из базилик люди построили винные подвалы. Полноводные рукава Моравы обмелели, заилились. Луга затянуло зелеными мхами, на месте былых строений поднялся лес. История скрылась под толщей земли. Крестьяне вновь возникших селений, в том числе и нового Микульчице, вскапывали землю под сады, пахали землю под хлеба. И часто натыкались на остатки погребений, находили сосуды, украшения, оружие.

Братья прибыли на моравскую землю в середине 863 года от Рождества Христова и пробыли здесь вместе, душа в душу, четыре года. Здесь — главное их духовное просветительство, их богослужение на славянском языке, здесь переведенные ими на славянский язык Евангелие от Иоанна, «Апостол», церковный чин, литургические службы. Книги, написанные кириллицей, быстро и благодарно воспринял простой народ, одаренный живыми чувствами быстрого познания духовной грамоты через молитвы и страницы на родном языке.

Насчет славянской азбуки и поныне нет безусловной ясности. Нет единодушия среди ученых. Многие полагают, что славянская азбука существовала и прежде принятия славянами христианства. Знали же наши

пашуры «черты и резы», была протоголаголица, протокириллица. Константин же, как говорится, с помощью Божией, благодатью осененный, упорядочил уже имевшееся и на основе греческой скорописи (а почему-то не устава) создал простую и в то же время совершенную азбуку-кириллицу. В азбуке были двадцать четыре буквы подобны греческим, а четырнадцать — вовсе новые: они передавали не известные греческому языку звуки славянской речи.

Подвиг солунских братьев — не только в создании славянской азбуки. Им дано было почувствовать красоту и богатые содержательные возможности славянского языка, и они со своими учениками дали славянским народам Священное Писание и богослужебную литературу в переводе поистине совершенном. Таким образом рушилась жесткая установка на триязычие, — мол, не должно никому, кроме евреев, греков и латинян, иметь своей письменности, точнее, исполнять на ней священные Книги.

Богослужение на славянском языке охватит огромные территории. А славянским, русским письмом будут созданы великие, пророческие книги.

## ИТАЛЬЯНСКОЕ СОЛНЦЕ

Осень 1988 года. Итальянское солнце. Маршрут нашей писательской группы — Милан, Падуя, Венеция, Орвието, Флоренция, Рим...

Орвието, городок на полугоре и на горе в мягкой, дымчатой, холмистой Умбрии — самой, может быть, прекрасной области Италии. Поздний вечер. Огромная луна из-за горы. Узкой улочкой автобус взбирается на самый верх, к собору. Одно время Орвието был центром Папского государства, резиденцией пап, и собор столь могуч, что спрашиваешь себя, как только могли воздвигнуть его здесь, какими силами вздымали камни наверх, где было средств найти? Впрочем, тут же и вспоминаешь, что весь католический мир вносил в казну наместников Христа на земле десятую часть своих доходов, на строительство и украшение главных соборов слал лучших зодчих и художников.

Внутри — аскетично и пустынно, а на паперти, на каменных ступенях, под немисливо огромной луной коротают поздний час местные парни. Едва ли вспоминают они, что в их возрасте, может, деды их, призванные под знамена Альпийского корпуса, шли на Восток; да и с какой стати, разве нечаянно, вспоминать им не пережитое самими прошлое, когда гудит, напирает на них нынешнее?

И только собор — всепомнящий.

Летом они еще держались, даже шутили, пели итальянские песни, научились и русским, особенно нравилась им «Из-за острова на стрежень». Но сковала зима, стало не до шуток, не до песен.

Никто из моих земляков не питал к ним той праведной ненависти, какую испытывает любой народ к захватчикам; тут было иное: захватчики поневоле, все о захвате не думавшие. Хотя итальянские минометы и карабины, пусть и не столь искусно, как немецкие, стреляли по нашим, и все понимали это, но к горемыкам, долбящим кирками промерзлый огород в надежде отыскать две-три картофелины, зябко кутающимся в невесть что, у местного населения было больше милосердия, нежели непримиримой враждебности.

«Синьора, хлеба...» Да пришли бы вы не с гранатой и миной, дали



бы вам хлеб-соль с радушием и открытостью, какие извечно — и наша сила, и наша слабость. «Мадонна, клеба...» Тысячеверстный путь не только вдаль, но и вглубь: от горних мадонн, вознесенных кистью великих старых живописцев, до мадонн совсем земных — славянских женщин, несших в лиховеменье неженские тяготы и, однако, не безучастных к чужому горю, с поверженными деливших последний спасительный лоскуток.

Но помог ли (помог — верить хочу!) тот бесценный кусок хлеба человеческому взаимопониманию в море полыхающей ненависти?!

## НАРОДЫ ПРОЗРЕВАЮТ

Человек лет пятидесяти на пустынной лесной поляне (а ему вдруг помстилось: в огромном зале, заполненном тысячами внимающих), устремленными руками воздымая вверх Евангелие, словно бы и не жилец начальных годин третьего тысячелетия от Рождества Христова, а древний пророк-обличитель, произносил слова то быстро, пламенно, то чуть тише, медленнее, раздельнее: «Видать, по дьявольскому наущению-сценарию дано было им, хищник мира сего, еще в ранние человеческие века придумать хитроумные способы обмана, накинуть удавки, ярма, незримые сети на племена и народы, изобрести орудия пыток, расправ и убийств, подавления человеческих воли и психики, умертвления живой человеческой жизни.

И как ты их ни назови (может, более всего подходит: кровососущие), они, подкупая или запугивая власть, или вовсе захватывая власть, во все века провоцируют раздоры, бедствия, революции, войны, лишь бы человечество не могло объединиться в стремлении к добру и справедливости и не «раздавить гадин». Вечная мировая война — миллионы погибших отцов, матерей, детей — миллионы погибших семей.

Закулисно, а теперь уже и не таясь, они щедро проращивают самые низменные начала в «двуногих венцах природы», введением в соблазны или бедность-нищету разрушают семьи, узаконивают содомские вожделения, шельмуют высокое просветительство и одаривают грантами ползучее растлительство. Ложью, клеветой, злобной силой утверждают они либертэ вседозволенности. Они отгородились от народов прикормленными эскадронами смерти, пушками и ракетами, финансовыми и информационными манипуляциями, научными смертоносными новинками. Они ненавидят весь мир, поскольку он не весь у их ног. Они, ныне называющие себя элитами, похотливые временщики, даже и не задумываются, что есть, «есть Божий Суд, наперсники разврата».

(В Москве, в раннебольшевистские времена, замышлялся грандиозный, пятисотметровой высоты памятник Ленину, который видно было бы из Рязани; еще желанней для интернациональных большевиков — из Лондона и Цюриха... Для реврадикального глаза требовалась малость: снести весь Кремль и Красную площадь с их соборами и памятниками.)

По-прежнему возводится Вавилонская башня — в иных, подчас незримых формах, и далеко не все живущие знают, зачем и кому понадобилась она.

И все же — народы прозревают!..»

А если б не было враждебных пограничий,  
 И люди жили без тревожащих отличий?  
 И не в обмане, вроде лозунга о братстве,  
 Свободе, равенстве и прочем «преприятстве»,  
 А в понимании, откуда корни тайных  
 Богатств, и обществ, и фигур случайных  
 На всех олимпах, этажах и сценах —  
 Фигур лукавых, злобных и внеценных  
 Клакеров, адвокатов, сутенеров,  
 Премьеров, депутатов, режиссеров  
 И прочая, и прочая, и прочая...  
 И человек мог увидеть воочию,  
 Что стало вечным правом, а не вестью —  
 Жить человечеству по совести и чести!

## ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ НЕ БЫВАЕТ

*Посох горит... Горят славянские грады и веси, горят необозримые нивы, горят эшелоны с матерями и детьми... горит Россия, из века в век опаляемая, испепеляемая пожарами враждебных нашествий, но никогда не полыхавшая так, как в первые годы Отечественной, по справедливости названной Великой... И никакими водами невозможно было залить эти пожарница, хотя, видя небывалые пожары и полыхания человеческих злобы-ненависти, Днепр, Дон, Волга пытались выплеснуться, вырваться из неволи своих берегов и устремиться по русской земле, чтоб загасить концевитные языки-сполохи огня. Неразделимо сливались в яростном поединке огни и воды, но пожары не унимались.*

## ЛОЖНЫЙ БРАТ

Осенним днем первого года последней (последней ли?) Отечественной войны он лежал на смоленской земле, в малом овражке, и видел, как по проутюженному полю навычной цепью приближались они, небоящиеся. После нескольких их атак во взводе, кроме него, в живых никого не осталось. Немцев приближалось не менее полусотни. Но видел он, весь напрягшись, только одного. Потому что прямо на него шел... его брат. Младший брат, воевавший на дальнем Севере. Тот же высокий рост, то же припадание на правую ногу, те же серые глаза. Хотя глаз не рассмотреть, а весь он с головы до пят серый. Но метрах в тридцати он все-таки успел разглядеть глаза наступавшего — уверенные, давно не падающие глаза вермахтовца.

Он ждал, сжимая в руках гранату, словно дите малое, словно женщину, словно... Ему лишь на миг стало тяжело и пусто, оттого что ни дитяти, ни женщины ему уже не обнять, в объятиях не сжать. Ложный брат уже делал последний шаг...

## НЕНАВИСТНЫЙ ПОДСНЕЖНИКОВЫЙ ЛЕС

Лиственный лес по склону лоцины был ласков и заманчив, как, наоборот, ласковы и заманчивы все срединнорусские рощицы, дубравки, смешанные зеленые пологи. И тревожно было увидеть в глазах попутчи-

цы, пятидесятилетней красивой женщиной, не умиротворение и благодарность лесу, а страх. Промельк ужаса в зябких глазах.

Боязнь леса — она вздрагивала при одном его упоминании — навсегда ужала ее душу и тело с той поры, как в самом конце войны ей, семнадцатилетней, преградили весеннюю лесную тропу четверо дезертиров.

С той поры она не смотрит фильмы «про любовь». Кроме церковных, не читает никаких книг, в которых признаются в нежных чувствах, избегает разговоров о молодости. Она никогда не держит в квартире цветы и меняется в лице, когда видит подснежники. Те четверо тоже почему-то были с подснежниками в руках, словно нарвали их для любимых.

## ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

Рассказывал очевидец. Кончилась война, и из поверженной германской столицы покатали мы в родные края на поездах, украшенных лозунгами, плакатами победы и зелеными ветками радости.

И наш, воронежский, тресвятский, всю войну провоевавший без единой царапинки, ехал в весельем и силой переполненном вагоне, с такими же, как он, в себе уверенными, подвыпившими. И уже недалеко была станция, где ему надо было выходить. Вдруг поезд резко затормозил, и трофейная швейная машинка сорвалась с верхней полки, заваленной всякой на завоеванной земле ухваченной всячиной, и нового владельца, нашего, тресвятского — острой боковиной фуллера — по голове. И вмиг на смерть. Самое обидное крылось в том, что парень он был не захапистый, ничего не вез отобранного, отнятого у несчастных побежденных, а машинку ему всучили друзья для его младшей сестры, которая в войну срукодельничала носовых платочков и кисетов на весь братнин взвод.

## ТАРЗАН И ДЯДЬКА СТОЖАР

О великолепный Тарзан! Бегаешь резвее резвых, плаваешь быстрее крокодила, прыгает в воду, может, с самого высокого в мире моста. О всегда побеждающий Тарзан!

Трофейный многосерийный кинобоевик повально завоевал наши ребячьи сердца. Состав тогда жюри из нас, слободских ребят послевоенной поры, мы бы этой лихой киношной саге присудили не то что золотую пальмовую ветвь — целую пальмовую рощу, в уверенности, что лучшего фильма никогда уже не видать. Иные из нас изловчились трижды, четырежды побывать на этом приключенческом крючке, бегая за ним по соседним слободам.

Кино смотрели и взрослые. Прореженные недавней войной мужики, еще в гимнастерках с медалями «За оборону Севастополя», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», прошедшие и долгие версты, и хляби долгие, глядели не без интереса на все эти экзотические штучки, словно и для них, привыкших ничему не удивляться, припасено было здесь диво дивное.

Дядька Стожар, невысокого роста добродушный крепыш, сидел рядом со мной и явно переживал, поглощенный придуманными опасностями: весь подавался вперед... что дальше?

Да ничего серьезного дальше, все будет о'кей, как в золотоносном кино. Но ведь тогда-то едва не каждый из нас иначе думал и за фильмодействие переживал, как за всамделишное.

Много позже я узнаю, что дядька Стожар, мой тихий, беззлобный, простодушный сосед, на войне выказал немало отваги, стойкости и чести: близ Севастополя был потоплен на катере и всю ночь продержался на воде (Дон помог, в детстве подолгу качая на своих волнах); а на Курской дуге на батарее был проутюжен «Тигром» и чудом жив остался; а в германской столице — из пламени, обгорев лицом, вынес немецких троих детишек — для жизни.

А сразу после войны спас упавшую с речного мостка девчущку — дочь местного однорукого председателя колхоза, хваткого похотливца, который на поле и в постели изувечил здоровые своей и его жены, и нескольких солдаток, сломленных неженской страдой, угрозами и голодом детишек.

Дядька Стожар, этот сердечно открытый всем знакомым и незнакомым, тихий, незлобивый слободской Тушин, от души болел за актера-супермена: что там приключится с Тарзаном дальше? Зато Стожар, как водится у крестьян, не придавал особенного значения пережитому и совершенному им самим: все четыре года войны он рисковал ежедневно, ежечасно, неоплатно, да и о какой плате могла идти речь, когда решалась судьба Родины?

## ДОН И ВИСЛА

Тридцать лет он носил в кармане фотографию своего друга из соседнего донского села. Два года бок о бок воевали они в пехоте, и ни одной царапинки на двоих. Погиб друг в сорок пятом, близ Вислы — не в атаке и не когда кинулся в яростно полыхающий огнем дом, внутри которого находились две малышки; местные жители, уже обожженные, стояли недвижно, словно кто-то околдовал их; скоро боец выбежал, весь красно-черный, с невидящими глазами, и когда будущих польских красавиц передал матери и направился к своим, раздалась долгая автоматная очередь.

Фотография изнасилась так, что надписи уже было не разобрать. И однажды, сидя на меловом камне на берегу Дона, он медленно, словно тяжесть, метнул ее в воду. И тут же почувствовал на душе осадок. Будто вместе с нею выбрасывалась и память о друге, хотя в оправдание можно было сказать, что фотография вниз по течению уплывала к родному селу однополчанина.

У самого берега родного Дона он долго вспоминал сорок пятый на Висле. Затем вынул из бокового кармана медаль «За освобождение Варшавы» и изо всей стариковской силы бросил и ее далеко в Дон, как совместную с давно погибшим другом благодарность за солнечные детские дни, проведенные на речной волне.

Ему стало легче, словно он избавился сам и избавил рдеющие полки фронтовиков от тягостно обуревавших дум о жертвах, губельных атаках на Дону и Волге, Дунае и Висле, от наивных послевоенных надежд, — что в сорок пятом освобожденная ими Европа будет на века вечные благодарна им.

И зримо, как в последний час, явились ему солнечные дни детства, донская волна, девичий смех; и он, человек невоцерковленный, словно бы почувствовал дыхание и милость Божественной Благодати, и тихие слова благодарности долго изливались из его сердца за все, им прожитое.

## ДЕТИ ВОЙНЫ

Он издал семь книг, и все о войне, вернее, о детях войны.

После затихшей передовой он, ребенок, увидел свою родину разоренной, свое село — наполовину сожженным, так что при первом ветерке галки горелого праха кружились чаще, нежели обычные галки, то есть галки-птицы.

Он видел воинов, обезрученных, обезноженных, с войны возвращавшихся. Видел ушедшую и неуходящую войну своими глазами: его сверстники и дружки ранились и погибали на минах, снарядах, гранатах.

Он чувствовал неискупимый долг перед ними, написал семь книг. Но ни семь, ни семьдесят, пусть самых честных и благодарственных, не могли облегчить чувства потери.

\* \* \*

И сказал старик-ветеран  
(войнами двадцатого века искалеченный):  
«Ничего хорошего не дожидаться от человечества:  
Даже если среди людей — миллионы хороших,  
Не упредят они человеческих ран,

Не упредят темных зол, предательства, лжи,  
Потому что содомитские силы  
Не устанут вонзать в человечество свои ножи,  
Свои чернильные хищные перья,  
Золотые подкупные, ржавь недоверья.

А война? Когда изойдет канонадой последней?  
Когда всегрешных настигнет последняя кара? —  
Мир тогда не успеет со своей поминальной медью,  
И на землю хлынут потопа и пожары».

## НЕНАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ

*Посох ведет по глубокому беспогодью: дождь, перемежаемый то снежинками, то градинами, слякоть.*

*Сплошная серая завеса, долгий тяжелый дождь. Льет как из ведра, льет так, будто все океаны земли оказались вдруг на небе и оттуда низверглись — разверзлись хляби небесные. Когда чуть-чуть стихает, видно косые нити дождя, прерывистые, будто пробелы меж строчными словами на серой бумаге; миллионы шуршащих строк, которые не прочтает никто: едва коснувшись земли, они исчезают, своей совокупной гибелью образуя потопно грозящие потоки. И смываются все шаги человеческие и дела рук человеческих, скрываются, исчезают все следы — и чистые, и грязные.*

## КОСЫЕ СТРОЧКИ ДОЖДЯ

В дождливый день бросилось в глаза...

Три машины, доверху груженные пшеницей, медленно подвигались к селу, и несколько водителей и грузчиков, подкладывая ветви под колеса, помогали продвинуться то одному грузовику, то другому, то третье-

му. Промокшие до нитки, люди тяжались с беспогодьем так, словно на их родине все еще длилась война и им надо было привезти как можно быстрее хлеб для голодного детского дома.

А на водохранилище вовсю поливают... водохранилище. Гремящий, с широченными трубами агрегат непрерывно втягивает в себя потоки воды и тут же их далеко выбрасывает — хрустальный изогнутый столб, белая радуга? Что это, зачем? Легнее обогащение воды кислородом, дабы рыбу уберечь от замора? Но рыбы уже нет, потому что замор случился на исходе зимы, когда агрегата и в помине не было. Так отчего же он грохочет? Может, его команда зело хмельна и никому не подняться, чтобы выключить ненужно гремящий левиафан? Может, и не с руки выключать, оттого что задан ему жесткий план?

Вдобавок на близком лугу вовсю стараются поливальные установки, заливая водами без того залитый луг. На вопрос любопытствовавшего путника: «Зачем? Ведь дождь?..» последовал ответ: «Нам за дождь деньги не платят. Видишь счетчики на установках? Сколько насчитают, столько нам и заплатят».

## БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА

Дождик моросит. На главной улице большого села — никого. На цветочной клумбе перед колхозным правлением с колоннами под античность лежит, разметав руки, саженого роста малый, видать, чуток перебравший. После затяжной лежки ворочается, выминая полклумбы, поднимается, оглядывается, что-то пытается сообразить и снова валится замертво.

Швыряемые из стороны в сторону убойным зелием, подбредают к клумбе двое. Остановились перед собратом, но поднимать не стали, а, постояв, направились к угловой колонне и стали упираться в нее руками, словно пытаясь сдвинуть с места или завалить вовсе. Сдвинуть не удалось. Тогда возвращаются к собрату, тужатся его поднять. Запутавшись в цветочных стеблях, валятся рядом и умиротворенно затихают.

Приезжий молодой экономист, глядя из правленческого окна, с шуткой и не без горечи говорит самому себе: «Васнецова бы сюда! Пора новую картину рисовать: вот что случилось с ними, нашими старорусскими богатырями... Экая застава богатырская!»

## ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Белая Ладья — красивая и незаменимая для летнего отдыха уральская деревня в глубине лесов, два века славная своими добрыми людьми. На выходные дни сюда приезжали на отдых, иные добирались от ближнего городка на такси.

Сын лесничего из Белой Ладьи, малый с нагловатыми глазами, носитель хорошего имени Борис, по окончании школы устремился завоевывать приуральский университет. Не поступил, а вскоре сам легко оказался завоеванным — попал в зловещую компашку, где любая людская душа ценилась не дороже червонца. Были у них и ножи, и наганы, и кастеты, и заточки, и тонкие нейлоновые шнурки... Деньги от черного промысла появлялись и тут же испарялись, как грязные лужицы в летний солнечно-плавкий день.

«Едем к моим предкам, там много чего раздобудем!» — пообещал Борис двоим друзьям. В райгородке взяли частного — небезденежного. На

развилке лесной дороги, невдалеке от Зеленого болота водителя ударили кастетом, наспех обыскали всего — добычей стали золотой браслет и тяжелая золотая цепь с неясным знаком Зодиака и несколько десятков червонцев; потащили к Зеленому болоту, чтобы скрыть следы убийства преступного. «У меня тут неподалеку под кедром кое-что есть, я враз!» Борис торопливо зашагал в огиб болотца, а его содельники потянули безжизненное тело в низину. На беду свою этот уголок леса осматривал лесничий. Завидев убийц, он направил на них ружье и заставил стать у самого края болота.

А сын подкрался к своему отцу сзади и тремя выстрелами сразил его.

«Теперь поторопимся!» Но торопиться не пришлось. Проезжала милицейская машина, остановилась у брошенной легковушки. Тут и раздались три выстрела. Бывалые стражи порядка сориентировались быстро.

Через несколько дней после похорон выплаканная до последней слезы жена убитого лесничего в недоумении — сама с собой разговаривала: «На какой страшной войне был!.. Награды — полстола займут. Никого и ничего не боялся. Мог один против четверых выйти, если по-честному схватиться!..»

А в лесу тем днем раздался рык медведя, как гонг призывающий, и целые стаи волков, лисиц, рысей, лосей, диких кабанов устремились на Судную Поляну.

По праву Старейшего слово взял медведь.

— Мы придумали казни и пытки? Может, мы придумали пытать огнем, водой? Или, может, мы додумались вгонять иглы под ногти и в мозг, заливать глотки расплавленным свинцом и парафином? А кого осенило — сажать человека на кол? Мы придумали помещать человека в мешки с крысами или голым привязывать к дереву в комариную ночь? И гильотину, электрический стул, газовую камеру мы изобрели? Нет, это человеки-гуманисты, ученейшие придумщики, изобретатели гибели — всеобщей, всеземной. Пусть они и называют зверьми худших из своих, но им до зверей — как нам до Млечного шляха.

— Человек — не гуманист и не творение Божие, его надо свести с земли, — решительно заявил волк. — Давайте все падем, и от смерти нашей потянутся заразные болезни по всей земле и исчезнет это самое злое создание под луной ли, под солнцем.

— Нет, — сказал окончателю медведь. — Нет, не надо природе подобной жертвы. Человек при таком бесчеловечном его «поступательном историческом движении», как это именуют их философы, сам даже внешне потеряет свой облик, и глазки его станут мелкими, как щелки, а подбородок лягушечье-отвислым, а руки всезагребуще-длинными. Предоставим роду людскому самому покончить с собой.

Ночной лес был полон шорохов и жил своей вековой жизнью.

## В АВТОБУСАХ, В АВТОБУСАХ...

Битком набитый автобус в жаркий июльский день мчался в большой город. Так душно, что тяжело было даже парой фраз обменяться. Но вот две женщины, обеим лет за сорок, с четверть часа зло переругивались: одна зацепила зонтиком другую, и та взвилась: «Ты бы его еще раскрыла, как на ночь исподнее платье... Какой тебя дождь мочит?» — «А тебя какой овод кусает?» Слово за слово — и уже враги злейшие.

Старушка в белом платочке на переднем сиденье стала медленно кло-

ниться и вдруг резко дернулась и, припав к стеклу, больше не шевелилась. Занялось громкое сочувствие, крики о помощи. Водитель остановил проезжавшую машину «скорой помощи». Как тут же выяснилось, она не понадобилась: старушка скончалась сразу.

Игорь Андреевич онемело стоял и думал: что эту, по всему видать, деревенскую пожилую женщину направляло в город? В гости? На помощь кому-то? Нянчить внука? Городские закупки? Жила бы себе тихо в своей избе, возилась на подворье и огороде, а по неизбежному часу все было бы пристойно — ее же погодки, уже освобожденные от зависти и всего суетно-земного, благословили бы в вечный спасительный путь. А здесь — этот духотный автобус, грохот, крики, чад автострადы. И самое тягостное: что видела она перед смертью, что запомнила, чтобы унести туда? Визги двух раскрашенных склочниц, безвкусно увешанных массивными драгоценностями?

Он молча направился в передние двери, как опять ударился слухом о перебранку, возобновленную, будто ничего и не произошло.

— Вас бы с этой сварой на час-другой в холодный бункер. Глядишь, поостыли б языки...

— Фашист! — сразу же взвилась одна.

— Именно фашист! — кинулась в поддержку другая. — Тебя самого бы в бункер, да на долгие годки!

Он сошел с автобусных подножек, невольно думая, что перед опасностью подлые всегда объединяются, будь они даже во вражде. Да, объединяются — таково свойство мелких душ: ненавидеть весь белый свет, если белый свет не темнеет.

А еще с невыносимой тоской подумал, сколько автобусов в этот день потерпит крушение, на горной дороге низринется в пропасть, столкнется с тяжелогрузными машинами, сорвется с мостов. И сколько там погибнет, и все больше — дети, дети, дети... оборванное будущее человечества.

## СУДЕБНАЯ ОШИБКА

Произошла судебная ошибка, и он, честный, прямодушный человек, пять лет отсидел в тюрьме. (Его дед по материнской ветви, семижильный крестьянин, своими трудами выстроивший дом для жены и семи детей своих, надломился и умер от разрыва сердца, что не остановило местных и заезжих активистов раскулачить труженический род, отобрать дом и пустить детей по миру.) И все же он не питал зла на власть, может, от непривычного крестьянскому роду убеждения, что человек мал, ведом разнородными силами и редко когда попадает в точку справедливости. За эти пять лет он получил единственное письмо от матери, сельской учительницы, — она, не пережив неправды и пятна на семье, тихо и скоро утасла. В десятистраничном письме мать подробно описывала страдательную жизнь своего отца, не жаловалась на раннюю потерю близких и словно завещала сыну верить в хорошее, которое тоже, как и худое, рано или поздно находит человека.

## ДЕКАБРЬСКАЯ ПОКАЯННАЯ НОЧЬ

Уже какой час он не спал. Он знал, что не спят на другом конце города его отец и мать. Потому что он от давно привычной, правда, не повенчанной, гражданской жены потянулся к другой, у которой (злые языки



говаривали) было других как песка на мокрых подошвах ног, бредущих по песчаной косе. Почти потерянно он думал, что своим нечестивым влечением предал благочестивых патриархальных дедушку и бабушку, у которых в деревне проводил школьные лета, а заодно — и друзей юности и подруг школьных лет, а самое тягостное, думал, что предал отца и мать, которые без малого полвека отдавали ему свои души и сердца, все силы, воспитывая чувство чести и совестливости, и которые теперь тоже не спали, угнетенные скорбными бессонницами.

И тогда он последние полтора года отдал молитве — он объездил почти все православно чтимые подмосковные, владимирские, суздальские земли, часами выстаивал в церковках русского Севера, везде теплил свечки и просил, молил у Бога прощения — за то, что, любя отца-мать, выросши, мало в чем слушался их, за то, что занимался вещами, противными его природе, его поэтической душе, строил размашистую дачу, которая отнимала все силы и средства его и его отца, и вконец сломал себя.

Его похоронили у въездных ворот городского кладбища. Скоро зацвела яблонька — любимое им дерево — над могилкой, и пятилетний его крестник, хрупкий прекрасный мальчик, с непередаваемой горечью воскликнул: «Крестный, зачем ты так рано леб под яблоньку? Я всегда буду тебя любить и когда-нибудь встречусь с тобой!»

Через месяц кладбище закрыли, и тут же, за городом, выросло очередное. И множились кладбища и крематории по всему миру так наступательно, что крестникам, еще по-настоящему не воспитанным своими крестными, резко пораженным их смертью или гибелью, только и оставалось шептать про встречи в иной жизни.

## СЕМЕЙНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Они несколько лет ждали переселения в другой микрорайон большого города. Там действительно было большое удобство: школа, детсад, магазины рядом, а главное — замечательный крытый хоккейный дворец. Старший сын Колокольцевых увлекался хоккеем и мечтал поскорее перебраться в Северный район, где кстати жили родители его товарища, с которым они и подружились на хоккее. И вот настал счастливый миг. И квартира выпала хорошая, в кирпичном доме, куда отец вложил много средств и сил.

В первый же вечер четверо наркоманов, отцы которых тоже приобрели квартиры в новом доме, соблазняясь спортивной курткой Колокольцева и надеясь на деньги для своих неотложных наркотических доз, до полусмерти его избили. С поврежденным позвоночником он около года провалялся в больницах. А затем...

В спортивный дворец приезжал сначала на коляске, а позже пришел, опираясь на трость, и наблюдал, как с ураганной скоростью несутся по хоккейной площадке его сверстники.

А семье его товарища пришлось перебираться в пригородный район, в некий современный барачный городок с квартирами-малометровками, потому что решительно не хватало денег оплачивать хорошую многокомнатную квартиру: коммуниз, отданный рыночно-либеральным правительством во внесударственное управление, увеличивал, все дороже и дороже, плату за реальное и виртуальное, за то, что работало и бездействовало, за вечное — воду, воздух, огонь.

Маньяки — черные, холодно просчитывающие, безжалостные! Маньяки власти. Маньяки золота. Маньяки террора. Маньяки — губители всего живого. Маньяки-сладострастники. Маньяки — мучители отроковиц. Маньяки — убийцы птиц. Маньяки — графоманы. Маньяки научные и псевдонаучные. Маньяки голотелого театра. Маньяки протестных резолюций и цветных революций. Маньяки черного рейдерства. Маньяки риэлторства. Маньяки-коллекторы в городах, лесах, полях...

И всюду — так или иначе — они убивают. Черными делами, словами, перьями, клавишами... Свобода! Черные маньяки, террористы, лукавые политики — ныне главные (с мировыми финансистами) извратители богоданной жизни на земле. Обычно они остаются непойманными, пока не насытятся, а они не насыщаются никогда. И не существует для них ни нравственного закона, ни юридического, ни суда чести и цензуры, ни государства, ни общества. Есть только их прошлые и будущие жертвы.

### ДЕТИ СМЕРТИ

Нет, это не те малыши, отроки, подростки, которые в годы войны гибли под бомбами и снарядами, в городах и на хуторах, в полях и на дорогах, в пылающих эшелонах, пытавшихся чугунными несчетными колесами убежать от войны.

Это подростки начала двадцать первого века — дети компьютерного прогресса, Интернета. И вот наше будущее, зреющее в юных сердцах, технологи детской смерти то примитивным, то изощренным образом подталкивают к гибели. За два евангелических тысячелетия ничего подобного даже в дурном сне не снилось человечеству. А ныне?

Какой-нибудь «продвинутый» пятнадцатилетний дурашляк или такая же особь из благонедовершенных девиц-девушек на свои сайты, под свои «новации», песенки-зазывы, превращающиеся в приказы, могут скликать сотни, тысячи, миллионы сверстников, а приказы (за видимыми — невидимые, с черными перьями и загребущими лапами сатанинства) ведут к массовому детскому самоубийству. И что-то, увы, не слышно всемирной сирены всемирной беды!

Идут в смерть и подростки из семей сверхбогатых, и подростки из семей сверхбедных. Богатым баловням судьбы, поторопившимся жить во всеизлишестве, уже скучны грядущие дни, месяцы, годы, в которых, как им кажется, все повторится. А подростки из бедных семей видят и чувствуют ненадежность своего будущего жизненного пути в мире, где ухмылисто правит денежный мешок, где государство отдает свою законную силу и власть нуворишам в банках, на чиновничьих этажах, на когда-то великих предприятиях; богоданные народам природные ресурсы раздраивает частным хватальцам, делает порядочных людей беззащитными и всебеднеючими, конечно же, не только через буржуазный рыночно-либеральный коммунхоз — очевидное преступное порождение передового капиталистического всеустройства...

В 1830 году болезненный, выхоженный беззаветными заботами бабушки, гениальный поэт-подросток пророчески предупреждал: «Настанет год, России черный год, / Когда с царей корона упадет; / Забудет чернь к ним прежнюю любовь, / И пицца многих будет смерть и кровь; / Когда детей, когда невинных жен / Низвергнутый не защитит закон...»

Гуляют ныне по миру вседозволенность, преступность, золотая мощь. Так что у мелкодушного и мелкоумного (не мелко-хитрого) мирового правящего класса — честь, совесть, достоинство в поругании и презрении. И что же? Не столь далеки воспрянувшие Содом и Гоморра?

\* \* \*

Миг, чтоб сменилось солнце на ненастье,  
Миг отделяет счастье от несчастья...

Погибла дочь, и неутешно плачет  
Еще вчера улыбчивая мать.  
Взмыл самолет, восторг небесной выси,  
Но скоро он низринется к земле.  
Была страна в надежде лучшей жизни,  
Но на нее обрушилась война.

Пусты они, земные пьедесталы,  
Был славный мир, и мира вмиг не стало.

## ВЕЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

*Посох ведет к женщинам разных времен, разных народов, и я обращаюсь в юношу, готового поклоняться всем девушкам, женам, старухам. И сколько же поведает они драм! Помимо полевой страды, изнурительного труда — обиды, нанесенные близкими, предательства их нареченных, супружеские измены, толстокожесть мужчин, болезни и гибель родных.*

*Мы на лугу, огромен луг, а девушки — как луговые цветки. Но хороши и пожилые женщины, и старухи.*

*А замкнутый полукруг молодых женщин, модно одетых, с холеними руками и открытыми нежно-загорелыми заплечьями — в стороне. Стоят подальше от «простушек», красивые ледяной красотой, надменные, высокомерные, свободные.*

## НЕ ТОТ ДОМ

Поднялся по крутой лестнице на пятый этаж. Постучал. Открылась дверь. Незнакомое вопрошающее лицо молодой женщины. Приветливое, красивое, но чужое. Оказалось, не в тот дом попал — из трех, внешне одинаковых, на городской окраине.

Не так ли, часто и твоя, и его, и моя жизнь? Мчимся по избранной дороге (мелькают окрестные городки и веси, туннели и мосты), но в конце совсем не то, что ожидалось. А иной раз — и тупик.

## СНАЙПЕРСКАЯ ПУЛЯ

Молодой офицер (где это было — на Кавказе или Украине?) шел по непростреливаемому вот уже несколько дней полю и, забыв об опасности, напевал недавно сочиненное: «От девочек, от девушек, от женщин / Исходит запах моря и полей, / Лесов, садов и яблонь бело-вешних, / И высоко летящих журавлей». Далее пошло прозаическое и более серьез-

ное: «От женщин — песни, от женщин — родники. От женщин добро и зло, и если зло — всему миру страданье. Миллионы, миллиарды женщин, и, искупая их и страсть, и грязь, над ними, святыми и грешными, восходит Богородица, Всеискупительная Дева, и ее Покров осеняет всех».

Она, двадцатидвухлетняя славянка-смуглянка, что могла стать женой русскому офицеру, целилась в него, назначенного врага, с которым никогда не встречалась, как в наиглавную мишень. И... раздался выстрел — без промаха!

## ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД МОЛОДЫЕ ЗЕМЛЯЧКИ

Под Старый год молодые женщины, приехавшие из города в гости к своим матерям, бродят со смехом и шутками по заснеженной сельской улице, забредают в избу родственников, дарят подарки-безделушки. В модных сапожках, поверх красиво сшитых платьев на груди — модные крестики. Старику, старшему брату их отца, хочется спросить: «Крестик-то зачем? Да еще напоказ! Вы же в Бога не верите, сколько помню, никогда не молились?» Но что спрашивать, он уже знает: модно нынче носить крестики.

Под крестами — неисходимые кладбища мира, и об этом старику хочется сказать приглядным молодухам, однако не решается, остро чувствуя, что временная разница между ними и им — не пятьдесят лет и не пятьсот, а вечность; бесконечная стена, разделяющая их, разделяющая, может быть, всех.

## ЗАЩИТНАЯ ИГЛА

Насильник взвыл и как мешок отвалился от молодого женского тела. Острая горячая игла вонзилась в его крайнюю плоть. Такие иглы оказались в детородной глубине каждой женщины на земле. Игла, как живая, устремлялась, когда насильник уже готов был войти в женские ложесна.

И с того не столь давнего дня, как Вседержитель-Творец смилостивился, не случилось на земле ни одного насилия над чистыми девушками, над верными женами, над порядочными, да и над всякими женщинами.

А до спасительной иглы — как помочь им, тысячам и миллионам жертв былых столетий и тысячелетий?

Он лежал, отходя от сна, который сам вызвал бесконечными мыслями о судьбах поруганных женщин.

## МАТЬ И СЫН — ПРОЩАЮЩИЕ

Молодая беременная женщина (да какая женщина в девятнадцать лет — девчонка!) медленно шла через прозванный воронежцами парк живых и мертвых: на порушенном кладбище под зеленым пологом двухвековых деревьев раскидисто и давно уже копилась живая жизнь: прогулочные дорожки с молодыми и пожилыми парами, детские площадки, торговые точки.

Был вечер, но не поздний. Молодая беременная женщина возвращалась от близких знакомых. Заняв у них денег на кооперативную квартиру, она безмерно радовалась, и словно радовался и пятимесячный малыш в ее лоне, часто трубя ножками.

Как из-под земли выросла совсем молоденькая, уже потрепанная, уже бывалая, с ножом в гибких руках, с наторелым матом на губах: «Снимай серьги, пузыня! И сумочку — быстро, живо!» А в сумочке — квартира, то есть необходимые для ее покупки деньги. Беременная хотела было позвать на помощь, но взглянула по сторонам — лишь разбойные рожи. Как отпечатанные.

Обессиленная, опустила на скамью и плачет — за всю жизнь так не плакала. И малыш замолчал. Ножками уже не трубит. Почувствовал материнское горе, почувствовал, что есть на земле дурные люди. К его маме подходят прохожие, спрашивают, сочувствуют, иные кинулись в глубь парка, обнаружить хваткоруки, да тех и след простыл.

А сын, когда ему исполнится девятнадцать лет, вытащит из канавы замерзавшую там пьяную женщину, которая когда-то заставила его перестать трубить ножками в материнском лоне. Он не узнает, кто она. Но если бы и знал наперед — вытащил: он унаследовал черты матери — доброй, сострадательной, зла на других не держащей.

### ТРОЙНОЙ ГРЕХ РЕДАКТОРА СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Такое с ним, редактором межобластного книжного издательства, случилось впервые. В когда-то губернском городе Т. не оказалось места в гостинице, и его пригласила к себе жена, вернее, вдова его хорошего товарища, хорошего писателя краеведческой темы, год назад погибшего в автомобильном столкновении.

Он пошел безоглядно, бездумно, не видя дальнейшего. А когда дома она выставила бутылку сухого красного вина и даже сама, еще не испытанная соблазнами и грехами, чуть несмело играя, рассказала какой-то анекдот про женских угодников, оба посмеялись. Трудно сказать, как бы сложилась ночь, если б они выпили чего более крепкого, как случается, когда двое заведомо знают, что им хочется ночь провести в объятиях. Но они вовсе не стали пить, и вдруг столкнулись глазами и увидели в глазах друг друга надвигающуюся вину. И, не хмельные, протрезвели так холодно, как если бы в преклонных годах на ледяном острове.

Мучаясь душевно и физически, он так и не сомкнул глаз. Он чувствовал, что не спящая в соседней комнате молодая красивая женщина тоже терзается между желанием и странным страхом близкого присутствия чужого мужчины и одновременно словно бы присутствия погибшего мужа, которого любила, верилось ей, на всю жизнь.

Он понимал, что совершает тройной грех: перед памятью товарища, который вопрошал: зачем он здесь, в квартире его жены; перед этой уже истосковавшейся по мужчине женщиной, за которой, верно бы, готовы были потянуться самые пресыщенные сладострастники; и, разумеется, перед женой своей, которую он любил и которая словно наблюдала за ним, но и сам он, и она знали, что ничего предательски-душного не должно случиться.

Расстались ранним утром. За редкословным завтраком хозяйка улыбалась сложной улыбкой, в которой чувствовались и тихий гнев женской оскорбленности, и спасительная радость, оттого что ничего не произошло.

После он нередко бывал в областном городе Т., но лишь однажды встретился с ней — на каком-то поэтическом вечере. Она поглядела отсутствующе мимо него, мимо всех и скоро ушла. А ему всякий вспоминаю-

щий раз спасившись не по себе, и он осозанно носил в душе эту постыдную занозу, чувствуя, что от нее не избавиться.

Их, разного рода мелких и крупных заноз, набрались — грозди, они угнетали сердце и душу, и в старости он, словно редактируя свою жизнь, пытался вынуть, выдернуть их из былого, из памяти, но они возвращались и вонзались снова — до самого его земного конца.

## НА ПОЛОТНАХ МЕЙССОНЬЕ НЕТ ЖЕНЩИН

Однажды подростком, уже чувствующим в себе приближение мужчины, он увидел на городском рынке четырех пьяных молодых женщин, как оказалось, только что из тюрьмы. Зрелище потрясло его: столько злобной словесной скверны, столько мата он еще никогда не слышал даже от запойных мужиков; столько срамных, совокупительных телодвижений, столько грубых, откровенных зазывов-обращений к мимо проходящим... На него увиденное подействовало так, как если бы мир природной и человеческой красоты на глазах низринул в пропасть.

И тогда он сказал себе, что, кроме родных, в его жизни никогда не будет побочных женщин. И добавил, трижды повторив: «Как на полотнах Мейссонье!» — это знание он приобрел из недавно прочитанной книги о Наполеоне.

Выросши в сильного, умного и полного разнообразных дарований юношу, он имел отбоя от разного возраста красавиц, но мужественно никем не соблазнился в ожидании нареченной — будущей возлюбленной, будущей жены, будущей матери его детей. К целомудренной и пришел целомудренным: верил, что семья — наиглавная общественная нравственная пристань, душевная, эмоциональная, телесная радость, дарованная Создателем.

Часто командировками, представительскими поездками жизнь усылала его в разные страны, где уже на другой день он начинал скучать по семье. И так длилось годы и годы.

Но однажды в итальянском городке дневная его беседа с молодой, воспитанной и красивой итальянкой-писательницей, занимавшейся, как и он, противостоянием во Второй мировой войне русских и итальянцев на Дону, научным и художественным отображением взаимной трагедии, перетекла в вечернюю... А затем пала ночь.

И с той ночи его стало преследовать тяжелое ощущение, что, дабы понять сущность мирового человеческого общежития, избыточно переполненного злыми страстями, враждой и ненавистью, ему должно узнать — через познание разнорациональных женщин — что же мешает человечеству стать единой, справедливо милосердной семьей, и именно через них, познанных женщин, добыть рецепт спасения человечества. Да, рецепт спасения человечества, о чем он наивно мечтал еще в юности. Ни больше ни меньше.

Никогда он не был похотливцем, но женщины густо появились в его жизни, так что пожелай он вести буквенную запись духовных и физических общений с ними — разве что плотно простыни вместило бы такую запись.

Но однажды с великой горечью он почувствовал, что угодил в дявольский розыгрыш и что не ему, современному человеку, тщиться спасти человечество, еще в евангельские времена обретшее пути к спасению, указанные Спасителем, — Единственным.

Нет-нет да и вспомнится ему раннее видение своей будущей (теперь уже прошедшей) жизни. Без побочных женщин. Без женщин — как на полотнах Мейссонье.

## КРАСОТКИ И КРАСАВИЦЫ

На своем веку он немало повидал их, чистящих перышки всякого рода певиц, актрис, примадонн и даже (мерзко вспомнить — грешно сказать) после многовыпитого вино-коньячного одурения переспавшего с одной из них, весьма известных особ.

Он чувствовал их насквозь всех — от властной госпожи Помпадур до завлекательной Мэрилин Монро, от древних владычиц престолов до приятственной первой леди последнего партийного генсекретаря, до всякого рода «звезд», «светских львиц», некоей Луизы Чикконе, сатанистски присвоивший себе имя «Мадонна». И решительно в них ничего не нашел, кроме пустоты, нагловатой напористости, шальных голосовых связей и уверенности, что их жизнеповедению завидуют многие. А почему бы им и не поддаться этому пустому гордынному обольщению, видя перед собой море вскинутых рук и диких визгов разновозрастных поклонниц и поклонников?

И он вспомнил женщин в поле под палящим солнцем, истинно красивых, вспомнил соклассниц — хохотушек и смиренных, неотразимых в своем естестве природной красоты.

А однажды он испытал потрясение в Русском музее, когда увидел на горизонтально удлиненном холсте инокинь кисти Нестерова.

И все это вдруг смешалось, и он подумал, что Богородица, высшее воплощение Девы, молится за всех — и за инокинь, и за светских гордячек, и за падших подзаборных женщин, и даже за тех, кто предается изысканно-извращенному блюду в золоченых альковах.

## ЛЮБОВНИЦЫ ЗНАМЕНИТЫХ

Нет бы снились девушки, женщины его молодости (весьма, строго-придирчиво вспоминая, красивые), которым он не только цветы, но и ночи лунные и безлунные отдавал. Так нет же!

С какой-то дьявольской повторяемостью в его сны впархивают... не жар-птицы, а фаворитки и любовницы чем-нибудь да знаменитых, великих представителей рода мужского. И норовят нырнуть к нему в постель, словно мало им было душных ласк Цезаря, Макиавелли, Байрона...

Будь он юношей осьмнадцати лет, его бы, верно, это и волновало, и поднимало младую гордость; еще бы: красавицы всех времен и народов, бурно прошумевшие в истории! Но он был многоповидавший и многоиспытывавший человек, и хотя женщину, наряду с птицей, считал созданием прекрасным, тем не менее нередко повторял слова из романа русского классика: «Сколько женщин! Никуда от них не деться. Нигде от них не спрятаться».

Правда, иногда с давнобылыми, античными и средневековыми законодательницами мод, подчас и вершительницами судеб полумира, он вступал в шуточные объяснения, дескать, поглядели бы они на нынешних фавориток и любовниц всякоблудных временщиков — нынешних светских львиц и тигриц, примадонн и лжемадонн, бизнес-леди и прочая и разнопрочая, они бы подивились, как измельчал мужской мир, довольствующийся в своих альковах таковыми безвкусными пассиями.

Утром он выходил из многоэтажного дома, в зеленом дворе на детской площадке шумно резвились детишки, неподалеку переговаривались молодые мамы, и были они просты, скромны и хороши той красотой, которую дарует счастливое, выстраданное материнство.

## ЦЕЛОМУДРЕННЫЕ НЕВЕСТЫ

Раньше были, да еще и остаются, невесты Христовы — непорочные, целомудренные, в монастырях им заготовлен совет даже не как утишить свою плоть, а как нравственно и духовно предуготовить себя к жизни вечной.

А теперь появились клубы девственниц, красивых, милых девушек и по возрасту женщин — от пятнадцати до тридцати пяти лет, причем как бедных, так и богатых, которым противна постель и только лишь постель, черда лож, в какие укладывают или зашвыривают их «успешных» сверстниц в нуворишевских особняках.

И требуется что-то более сильное, высокое, резкое. И очеловеченное. Но доходит до того, что создаются спецназы именно девственниц, которые обороняют вверенное им дело (или высоких государственных лиц) не хуже мужчин. Пусть и так — не хуже... Но в человеческом общении женщина веками воспринималась как держащая дитя, а не держащая оружие. За какое-нибудь столетие все так разительно изменилось?!

## ЦВЕТОЧНЫЙ ТОСТ НА СВАДЬБЕ

Свадьба собралась в ресторане в центре города. Уже часа два, как шумно праздновалась она. Объявили передышку. И тут вдруг зашел неприглашенный. Когда-то влиятельный и безбедный и сам покончивший с этим «везеньем», он был отверженным родственником соединявшихся в браке ухватливо богатых. Свадьба словно насторожилась. Гость держал три полевых цветка и, видя молчание, с ходу произнес пространный «цветочный» тост:

По всем народам гуляет шутливо-грустное, свадебно-прибауточное.

— Молодые, что такие веселые, радостные?

— Жениться хотим!

Через год.

— Молодые, что такие мрачные, насупленные?

— Да поженились.

Так пусть вам после женитьбы будет хорошо и через год, и через пятьдесят лет.

На свадьбах всегда желают любви и счастья. Но что такое счастье? Кто-то вышагивает кривопутками приобретательства, по лестнице административного статуса и имиджа, но однажды очутится у разбитого корыта. А другой, не забыв честь и совесть, скромно строит свое гнездо, которое окажется не каравеллой, но хорошей ладьей.

На нынешней свадьбе, гляжу, много цветов. Они сорваны в оранжевых и сворованы с клумб, есть лесные, полевые, луговые; они хороши, но им уже не жить, а свадьба — для жизни, и я хочу рассказать вам о живых цветах.

Вита, когда ты была малышкой, годовалой малышкой, я увозил тебя в алой коляске всматриваться в мир, в недалекий от дома ботанический массив, где еще не погуляла пила местного олигархата. Вокруг твоей ко-



ляски колыхалось море желтых, синих, белых цветов. Тысячи цветов, и все они мне казались детками, потому что ты любила прижимать эти цветки к щеке и обнимать их, а еще — то были девяностые годы прошлого века — годы расправы с Россией, и дети у России почти не рождались.

И в такие часы, при том море цветов, я думал о других — из послевоенного лета моего детства. Тогда по Дону еще ходили пароходы, и вот на пристани у луга, также, словно праздничная скатерть, покрытого цветами, сошла семья. Герой Советского Союза, видать, летчик, а, может, и нет: летчики долго не живут; отец молодой, мать молодая и с ними четверо разновозрастных деток. Они оказались из нашего края. «Да куда же вы, тут разорение и бедность!» — «Мы возвращаемся на родину!» — со спокойной радостью воскликнул мужественный и счастливый отец.

Желаю вам прожить счастливо, среди живых цветов и живых людей и лучше бы всего — на трудной нашей Родине!

\* \* \*

Гита. Зеленоглазка.  
Нежность сама и ласка,  
Память сама и боль.  
Миру диктуют маски.  
Странны добрые сказки.  
Где твой отец-король?

В Англии даль-туманной  
Пал он на сече бранной.  
Гита-душа, держись.  
Знает и Русь туманы,  
Знает и Русь обманы.  
Чем утешает жизнь?

Муж твой, державно имя,  
Князь Мономах Владимир —  
Гроза половецких степей.  
Гита, милая Гита,  
Сколь расцвела в любви ты,  
Мира судьбе твоей!

...Элла. Зеленоглазка.  
Стали не нужны сказки.  
Сколько веков прошло!  
Но, как у верной Гиты,  
В битве отец погиб твой —  
Правит и ныне Зло!

Милые зеленоглазки,  
Верьте в добрые сказки,  
Верьте в Свет и Любовь.  
Пусть вас сумрак не мучит:  
Солнце уходит в тучи  
И возвращается вновь!

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ СРЕДЫ

*Посох ведет в литературное царство-государство. Пришлось миновать красивое озеро и зловонное болото. То и другое — вода природная.*

*В литературном мире вода совсем иная. Как не без яда писал едва ли теперь кому известный эпиграммист о романе Тургенева: «При чтении этих «Вешних вод» / И их окончивши, невольно / Читатель скажет в свой черед: / «Воды, действительно, довольно». Миллионы водянистых строк, миллионы водянистых страниц, и на дне какого озера, скорей всего, болота искать их смыслы?»*

### «ДРУЗЬЯ» ВЕЛИКИХ

Двое в кафе — уже крепко хмельные.

— Шукшин — настоящий! Шукшин был мой друг, а у меня друзей худых нет. Он предлагал мне сыграть Хлопушу в его «Степане Разине». Говорил, что кроме тебя, Саньч, никому этот образ не создать.

— Но при чем Хлопуша? Он сто лет спустя после Разина жил, он к Емельяну Пугачеву заявился.

— Степан, Емельян — какая разница? Оба хотели воли. Да Шукшин и про Хлопушу сделал бы фильм... Слушай, скоро пластинка с записью моих песен выйдет. Все это, конечно, пустяки. Мелкая эстрада, крупная разве бывает? Моя миссия — роман. Шолохов, представляешь, при встрече прямо заявил: «Если ты такой книги, про какую мне рассказал, не напишешь, — я ему изложил замысел, а он в ядреный казачий восторг пришел, — если не напишешь, говорит, мне покоя не будет. Должен же быть у меня продолжатель...»

Кто там еще из великих «знакомцев» окажется у них на языках? До закрытия кафе — полтора часа, а после весь мир — кафе, разве что разойдутся исполнять свои миссии; один — несыгранную роль, другой — обещанный роман.

### ПОМНИТЬ БЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ БУДДЫ

Глядя на трехтомное собрание своих сочинений, три года назад изданное, он вспомнил, что никому не подписывал первого тома, суеверно побаиваясь, что не доживет до последнего. Дожил, дождался! Опасался, что выйдет не все складно: или серая бумага, или бледно пропечатанные иллюстрации, или ошибки от корректорского недогляда, а то и обнаружатся вдруг загоны строк.

Нет, все обошлось наилучшим образом, собрание сочинений — из добротных, уже последовал высокий госкомиздатовский звонок — благосклонный и вдохновляющий. Радость уже — держать тома в руках, перелистывать страницы. Отменный матерчатый переплет, молочно-белая первосортная бумага, отличная печать.

«Собрание сочинений» — какое торжественное обозначение, где буква «Р» — словно бронза!

Но постепенно радость стала сменяться чем-то тревожащим — сознанием того, что не все здесь без сучка, без задоринки, что-то не так. Но что? Сам текст. Состав? Основу собрания составили рассказы и повести, едва ли кто сказал бы о них худое. Одна повесть стала чуть не классикой, ос-

тальные... остальные были по своему дню важны, читались и шумно обсуждались, но то было лет двадцать назад, людей теперь волновало иное. Существовал же еще роман, он-то и был причиной возникшей неуверенности. Писатель даже заглянул в содержание, словно надеясь на чудо — не увидеть его в трехтомнике. Роман этот часто напоминал о себе, а писателю — о нем самом, седовласом и признанном, являясь как бы тайным свидетелем его слабости. Роман был написан в пору славы его повестей, скорехонько, в полгода, без необходимого внутреннего убеждения и непонятно зачем: для поддержания набранной скорости, выверенного ритма, для освоения нового жанра? Ложилось на бумагу без боли и страсти, и получился сундук затейливых сцен, историй, не без мастерства, конечно, исполненных. Славы «сундук» этот, понятно, не добавил, в серьезной периодике даже не стали обращаться к нему, вроде бы его и не было вовсе. В сочинения писатель не думал его включать, но... не то что соблазнился тремя томами (роман потянул на том), но и не устоял.

Он, может, и не знал изречение Будды, предостерегающее во все века всех пишущих: «Ненаписанное лучше плохо написанного, ибо плохо написанное мучит».

Раздался телефонный звонок. Звонил друг, давний друг-однополчанин, с которым они вместе выбирались из окружения под Смоленском, с которым три года воевали бок о бок. Как всегда крепкий, чуть насмешливый голос: «Знаю, что другу-классику мешаю. Не работать мешаю, а упиваться плодами весьма зрелыми!» Писатель принял шутливый тон: «Увы, один плод — так зеленой зеленого. Убрать бы его с глаз долой!» — Друга он посвящал в свои сомнения насчет романа. «Ты опять за свое? Да неужто, думаешь, подписчику есть дело до твоего романа? Ему подай собрание сочинений. И чем ни больше томов, тем лучше. Видал очереди за подпиской? А на книжном развале ты, трехтомный, в два номинала! А убери роман — что бы осталось?

Два тома? Да разве на них возведешь пьедестал? А три — это уже и пьедестал, и капитал...» — друг рассмеялся. Он балагурил еще долго, охотно, не вкладывая в свои шутки никакого желчного смысла. Но писатель обнаруживал именно желчный смысл; слова о пьедестале и двойном номинале укачивали, и он думал о том, что какое это счастье не заниматься писательством. Потому что один раз поступишь собой, случись одна неверная нота, легкий фальшивый звук — и все! Нигде — ни за письменным столом, ни в дороге, ни во сне — нет тебе покоя. Словно ты обманул тех, кто тебе поверил.

Ибо плохо написанное — как ложно назначенный рецепт.

## ПЕРЕЖИТОЕ И КАБИНЕТНО-РАССУДОЧНОЕ

Один говорит: «Зачем я пережил десять веков родной истории? Пережил Крещение, монгольский аркан, поле Куликово, Малюту Скуратова и Бирона, Бородино, декабрьский день на Сенатской площади и многое еще, зачем? Честному писателю это одно мученье... Понимаешь несоизмеримость, ненужность... Напишешь три строки и уже видишь: ложь! Во всяком случае — словно не по твоей воле оттянутое от правды и истины».

А другой — «ни дня без строчки», и что ему до истории, да и до сегодняшнего дня, до кричащих его диссонансов, если есть возможность, не особенно волнуясь, не утруждая себя и не мучаясь, пописывать, пописывать, пописывать. И издаваться, издаваться, издаваться...

У одного повесть до последней строки родилась из пережитого им (за исключениями редчайшими он никогда не записывал увиденного, тем более услышанного, чтобы не пользоваться чужим). Когда писал повесть, позже никем не «надуваемую», но благодарно принятую читателями, он страдал: заново переживал прожитое, так что сердце болело и старело быстрее обычного. Он знал, что можно иначе: через пылкое воображение или спокойное бытописание. Но так не мог. И первая та повесть стала и последней.

А у его знаконца — членский писательский билет, спокойная безнатурно-научная филологическая кафедра, вальяжно-спокойный характер, сверхтолерантный взгляд на жизнь обоих земных полушарий. И гладкое, уже после первых страниц мало кем читаемое писание — вяло-спокойное, теплохладное, холодно-рыбье.

## ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ НА ПОТЕРЯННОМ ДИСКЕ

Прожитая и даже на диске потерянная жизнь?

Он, давно знаемый и уважаемый в литературных кругах, издавался крайне редко, да и от напечатанных книг не испытывал особенной радости; зато ему радость и печаль доставляло шедшее с детства, с отрочества описание своих дней и впечатлений от поездок и хождений по родной земле, встреч со знакомыми и незнакомыми людьми, переживаний от происходивших событий, не только его тревожащих, но и его город, родину и мир.

(Он надеялся, что внуки-правнуки не дадут пропасть его обширной памятной рукописной книге из нескольких дюжин записных книжек и даже опубликуют — растиражируют: как знать, быть может, его записи бывшего окажутся негромким искренним предостережением будущему, пусть даже одному человеку, от ошибок, которые он совершил. *Verba volant, scripta manent* — слова улетают, написанное остается; дневник-ежедневник, щоденник, *tagebuch*, *eldiario*, *journal*... и прочая, и прочая... да разве подобные фиксаторы дают полноту хотя бы одной, отдельной человеческой жизни, тем более — времени и пространства трагического бытия человечества?! И все же...) Однажды он свои записи перепечатал и перенес на диск — хранитель объемной информации. Рукописи же прожитого изорвал и выбросил, может, не желая видеть, как с годами все слабее, все согбеннее становился его почерк — явный свидетель угасающих сил.

А потом... Он повез диск на перезапись в областной архив. Всюду тянулись пробки, битый час пришлось ехать в автобусе; после бессонной ночи он впал в забытье и ему явилось, что он опоздал на поезд и пытается догнать его, бежит через долгие поля; с нарастающим чувством бега он торопливо сошел на остановке, позабыв на сиденье черную папку с диском. Хватился скоро. Но найти забытое не удалось.

Дома, ночами, он часто лежал в бессоннице, видел в полумраке сотни для него дорогих книг, иных — читанных-перечитанных, множество вещей, которые для него стали почти одушевленными, и думал тяжелыми, упреждающими, футурологическими думами, что однажды дом может погибнуть от плохой выстройки, от газового взрыва, или его покинут будущие родственники, в спехе и, может, равнодушии оставив едва не все вещи, — издания его собственных произведений; книги, подписанные ему великими людьми Отечества; картины и этюды, подаренные хорошими

художниками, а также приобретенные в разных городах народно-промысловые поделки — они были словно частицы его души.

И он никак не мог избавиться ни от тяжелых снов, ни от тяжелых дум-бессонниц. Ему ознобно думалось, что с изорванными дневниковыми листками и потерянным диском словно бы куда подевалась его жизнь и, куда печальней, жизнь его поколения...

И все же не уходила надежда, что мысли, тревоги, упования его и его поколения сохранятся на других дисках, в других домах, и даже — других странах.

## ТРАГИЧЕСКИЙ РЕФРЕН

*Боже, верни нам Советскую власть!* — воскликнул искренний, доверчивого сердца поэт, долгие годы проживший при советской власти и хорошо прочувствовавший ее поступательный путь — трагический и героический, жестокий и чаявший милосердной справедливости.

(Просить у Бога вернуть безбожную власть?!). Он, конечно же, знал про лихолетные годы этой власти: раскрестьянивание, налоги на родной сад-огород, на кормилицу-Зорьку; или — отсидка матери в тюрьме за горсть зерна... А карательные походы правящей верхушки против церкви, духовенства, казачества, против сначала белого, после и красного офицерства, против всякобывших!.. Иное видел сам, иное — пережитое родными. Узнал и более отдаленное от дедовского плетня — столичное правление жестокого, вненационального, внеотечественного скопища ненавидящих Россию и ее народ. (Какой бы то ни было «русской партии» в русскими выстроенной тысячелетней стране верхуруководящее скопище не могло допустить, и честные носители этой идеи были уничтожены бериевскими опричниками.)

И в то же время поэт видел эмоциональные тяготения страны к справедливости, и, как ни безмерно велики были потери народа и родины, тяжелейшие жертвы в великих социальных переломах и войнах, неслышанно преступным оказался всемирный, внешний и внутренний, злобный вал на единственное в мире государство, в котором не убивалась, а, наоборот, лелеялась мысль и надежда общественной справедливости.

Поэт видел, как нововластное *буржуазное хайло* (в определении Шмелева, из письма Бунину) разрушает, ломает, уничтожает все хорошее, материальное и духовное, чего добилась народная страда при прежней власти, вопит на всю Ивановскую или в соответственном салоне («применительно к подлости»), дескать, сколь теперь славно — быть свободным, то есть свободно грабить, обворовывать, лгать, клеветать; ловчить, ненавидеть и презирать не ухвативших, вернее, решительно не ставших хватать мародерского злата. И он, скоро ушедший из жизни, в последней своей журнальной публикации, обреченно отчаянно надеясь, несколько раз, рефреном повторил эту наивную мысль-надежду: *Боже, верни нам советскую власть!*

## ГДЕ ТЫ, ГДЕ КНИГА ТВОЯ?

Ты верил в свою звезду — ты писал о птицах небесных. Сотни птиц — и ты их чувствовал и знал гораздо вернее, чем тех знакомых, которых было не миновать в жизни. Для нас, сорокалетних, ты, восторженный, исполненный искренности и веры, ты, поэт, историк, интуитивист имен-

но птичьего бытия, описывал их вовсе не так, как сугубые ученые-наблюдатели. У тебя сопрягались мир птичий и мир человеческий. Птицы у тебя были похожи на исторические лица и внешне, и повадками; скажем, хищный, жестокий, нагло кричащий проявлялся копией одного из раннебольшевицких вождей с воздетыми в мировую даль руками; впрочем, ты и всю историю истолковал так: человек — птица, а птица — человек. Ты написал книгу об этом, куски из которой зачитывал друзьям, и страницы эти были удивительно необычны и удивительно хороши.

И вдруг следы твои, нашего Гены с птичьей фамилией, потерялись. Ты как в воду канул. А какова судьба твоей книги? Разве не бывало так, что малоизвестные рукописи всплывали, печатались под чужими фамилиями каких-нибудь фигуркиных?

Господи, не дай кривой, запутанной судьбы Гениной рукописи, и пусть она когда-то да появится с подлинно авторской фамилией!

## ПРИТЯЖЕНИЕ МОРСКИХ ГЛУБИН

### 1

Он, сыздетства мечтавший о море, однажды где-то вычитал, что великий континентальный поэт сочинял стихи о море, не побывав на нем. И он понимал поэта: море — оно в человеке от рождения, как прастихия.

В молодости сам встретился с морем. И было оно духозахватное. Тысячью красок играло и ласкало оно, и тысячи слов ничего бы не могли сказать о красоте этих красок. Лазурное, синее, зеленое, фиолетовое, облачно-серое, темное, светлое. Позже побывал он и на северных морях — янтарном Балтийском, свинцовом Белом, и на южных — Черном, Азовском, Каспийском. На Черное стал приезжать ежегодно.

Однажды поехал на море с женой и дочерью. Через день дочери не стало: заплыв на глубину, она камнем ушла на дно, слабое сердце не выдержало резкой смены погоды.

Им навсегда овладела боязнь воды. Он вздрагивал, когда произносилось слово «вода» в любых ипостасях — море, озеро, океан, река, болото. Он больше не ездил на море, но оно в часы ночных бессонниц колыхалось перед ним всей своей довременной громадой. Лазурное! И за этой лазурной поверхностью виделось страшное дно, на котором, почему-то одетые в особые, непосильные морскому давлению скафандры, тысячи погибших, среди них и узнанная им дочь, вели ни на миг не затихавшие разговоры, смысла которых он разобрать не мог.

### 2

Молодой прозаик и художник, на редкость чуткий, томимый незримыми мировыми волнами, решил отдохнуть на море. Надеясь от всего отвлечься, уходил на пустынный пляж. Хороший пловец, заплывал далеко-далеко в море, и поначалу сине-зеленым, с белыми гребнями волнам радовался, как на далекой и великой реке детства. Но через три дня он вдруг почувствовал внутреннее беспокойство моря: волны были неласковые, тяжелые, грозящие. Однако не волны испугали его и даже не дух мрачных глубин. Он или увидел неисчислимые тьмы погибших в море в дни войны и мира. Он с трудом доплыл до берега и понял, что уже не напишет задуманную и начатую повесть. Может, даже и ничего больше не напишет.

Он словно стал частицей моря. Он почувствовал, что тьмы и тьмы могучих воинов, прекрасных девушек, женщин, детей и стариков, поглощенных морем, никогда не дадут ему живописать что бы то ни было.

Он уехал, а через месяц вернулся. И в день приезда, точно злая все- сильная сила поджидала как очевидца именно его: на его глазах рухнул в море большой пассажирский лайнер; и пока он стремительно низвергался с заоблачной высоты, пока не уткнулся в морские волны, прозаик и художник вобрал в сердце всех взрослых и маленьких пленников обреченного самолета, и невыносимая боль пронзила его, так что, добравшись до номера, он, не вставая, пролежал в постели до вечера. Лежал с открытыми глазами, видя, как небесная высь и морская бездна трагически соединяются сильным и удобным, но страхом и пламенем объятым лайнером — никогда и нигде не угадываемым жертвоприношением великому прогрессу.

А вечером прибывший поутру человек вышел к морю, долго стоял на морском берегу, а затем поплыл за горизонт — словно в дальние приморские страны. Больше никто его не видел.

### «И К ВЕЧНОСТИ. К БОГУ»

Как раньше было: нахлынут стихотворные строки — бери обрывок листа, огрызок карандаша и успевай записывать: строки набегают, как волны, как ветры, как огни.

И старший сын твой, умница, так увлекся стихами еще в школе, потом на службе, что ты думал: вот для него самое существенное.

А он, талантливый, чем только не занимался в жизни: по службе летал над Крайним Севером, Западной Сибирью, Кавказом и Памиром, вплавь преодолевал большие реки и восходил на горные вершины, любил математические головоломки, через ландшафтный дизайн облагораживал дворы городских зданий и загородные особняки. Изнашивал свое сердце тяжелыми надрывными физическими трудами, бессонницами горько выпивающей среды.

Вдруг стал строить свой дачный особняк, никому не нужный (ни ему самому, ни отцу-матери, ни крестнику, особняк — будущий вместитель межсемейных недоразумений, мина для грядущего раздора случайно родственных).

Он перестал придавать значения стихам, видел в них тщетное, лукавый соблазн, гордыню. За истинное почитал разве Пушкина, еще — Боратынского, Тютчева, Достоевского.

Его несло в пропасть. Резко жизнь оборвалась.

В сосновой роще, на кладбище, на надмогильном черном бруске его стихи: «Млечный Путь — словно свет между ставнями ночи. / Белый свет отступил, и открылась дорога, / По которой отрадней и, верно, короче, / От рождения к смерти. И к вечности. К Богу». И эти строки несут тихое утешение и успокоение его измученным старым отцу и матери.

Именно — к Богу. Он проехал все примосковско-владимирское Золотое Кольцо, долго молился в Дмитриевском соборе и в церкви Покрова на Нерли. Прощаясь с нею, сказал: «Моя последняя земная встреча с Небом. Церковь Покрова останется, даже если ничего от нее не останется. И никого не останется».

Все пройдет — и скорби отца, матери, и шумные автострады, и великославные города с их многовековыми библиотеками, театрами и музеями.

ми. И только эта чертушка на Нерли — удивительная свечечка благодарности Богу, даже затопленная концесветными водами, будет светить... По Вышней Воле она будет светить высшим светом внечеловеческих, внеземных помина и веры.

## КЛАССИК И НОВАТОРЫ В ЕГО ГОРОДЕ

Бунин, судя по всему, испытывал явное отвращение ко всякого рода литературным, театральным, художественным авангардистам и прогрессистам, тщившимся своими кривыми тенями затмить классическую традицию, «новаторам», чьи способности чаще всего «низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов...»

Авангардисты, галеристы, их фестивали, выставки — под либерально-охранной сенью только ли местной власти? В 1970 году, выступая на Международной бунинской конференции в Орле, я ли, другой ли уже предвидели этот курбет и не только ратовали за казавшийся тогда столь далеким памятник Бунину, не только вспоминали сокровенное: «Антоновские яблоки», «Суходол», «Лапти», «Несрочная весна», «Жизнь Арсеньева», «Чистый понедельник», «Холодная осень», но и предсказывали скорые толпы толкователей и лжетолкователей бунинского слова (в кино, на сцене, на странице), как то в немалой степени случилось со словом платоновским.

## МИРОВОЕ КОСТРИЩЕ ИЗ КНИГ

Великие книги сжигали, выбрасывали на свалку, вывозили на переработку, и из заново изготовленной из тех книг бумаги наводняли все прилавки, почтовые ящики, офисы и конференции агитационными листками, брошюрами, буклетами невиданной рекламной пошлости, оккультными, сексуальными, информационными бумагами-зазывами, биографиями суперменов и поп-звезд. И так это нечитаемое чтиво заполняло мир, что чутким людям казалось, что даже бугорки на кладбищах могил приподымались — возмущался прах ушедших поколений. И горестно-возмущенно шумели кронными пологами древние леса, которым во успешное продвижение и хваление нового должно было погибнуть.

Да, сжигали книги, на костер шел Достоевский, в огненных сполохах горели Пушкин и Гоголь, Данте и Шекспир, Сервантес и Гете — великое наследие, ненужное мировому проекту, этому конгломерату глобалистов, финансистов, аферистов, и они хотели, чтоб не сохранилась ни одна христианская, православная книга, ни одно из русских, прежде всего русских, да и немецких, французских, испанских, итальянских и даже английских сочинений, правду говорящих или взывающих к справедливости.

\* \* \*

Кто поставит последнюю точку — не знает никто.  
Как не скажет никто, кто сложил изначальную песню,  
Может, сказку иль повесть, каких не бывает чудесней.  
И Гомеру и Данте, Шекспиру и Пушкину вслед



Мы спешим, понимая, что нам не постигнуть великих,  
Рассыпается цельное, словно в осколочных бликах.  
И дано нам увидеть, познать разве малую малость,  
И над нами, как прахи, кружат суета и... усталость.  
А последнюю точку поставит — Создатель, Творец!

## НАДУВАЕМЫЕ И НАДУТЫЕ

*Посох привел тебя на бал, преуспевающих, всепрезирающих, все-  
низвергающих. Чтобы взглянуть и уйти. «Взглянул и мимо!» — как  
бронзово припечатал великий флорентиец тех, на кого слова бессмы-  
сленно тратить. Бал так бал! Что там шабаш на горе Броккен, что  
там гульбище Воланда!*

*Бал глобальный, бал вселенский... — И кипучий радикал: — / Со  
своею толерантностью всех бы лихо искромсал... / Всех и всяких, кто  
не с ним, Пусть сойдут как персть и дым, / А подобные ему — ровня  
Солнцу самому!*

*Эстрада, сцена, подиум... Они, купаемые в экоспецбассейнах, в ван-  
нах из шампанского и молока, лани мужеска и женска пола, а подчас  
и неопределенного, всегда наклонные лгать, эпатировать, поднимать  
гвалт на всю вселенную, они, обычно мелкие, низкие дарования, ис-  
торгают из себя экстрему, фанфаронство, свойство вольготно, безза-  
ботно и безбедно обретаться при всех режимах, разбрасывать саги  
по всем направлениям, именам, ставить свечку и Господу, и дьяволу,  
они — от праотческих времен неизменно такие, вплоть до последнего  
их легиона, который разве не исхитрится оказаться среди наипослед-  
них?!*

## ПЛЯШУЩАЯ САЛОМЕЯ

Христос обращается к взрослым: «Будьте как дети». Все дети — чистоты залог? Но вот Мориак, не только великий писатель, член Академии бессмертных, нобелевский лауреат, но и великой души человек, великий христианин, в «Жизни Иисуса» дает поразительную сцену. На пиру у царя Ирода пляшет Саломея, дочь Иродиады (почти невысказанные в устах Мориака слова: «маленькая гадина»), и когда после ее похотливо-влекущей пляски Ирод обещает исполнить любое ее желание, та обращается к матери: «Что просить?», а мать отвечает: «Головы Иоанна Крестителя!», «маленькая Саломея ничуть не удивилась и не смутилась».

Нынешние режиссеры-авангардисты, художественные пропагандисты, либералы-театралы вскидывают, как знамя, столько больших и маленьких саломей, каинов, дебор, мессалин, калигул и прочая, и прочая... Легионы нечестивцев извлекают из прошлого силы похоти, ненависти и злобы.

В большой приуральский город запорхнул театральный режиссер-сверхноватор, чье новаторство, давно не новое, истертое на многих зарубежных подмостках, заключалось: выпустить на сцену ликующую вульгарность, развязность, эффектные телоизвороты и густое матословие нередко свободных от одежд (в чем мать родила) и лишенных эстетического стыда театральных пассионариев; его распирало чувство, выражаемое в часто повторяемых им словах: «Побольше провокативного! Провокация — роза культурного прогресса».

Или эти режиссеры — существа, набитые избыточными претензиями и всякой псевдохудожественной пошлостью? Пляски, пляски на теле израненного мира...

## ЩЕДРЫЕ МЕЦЕНАТЫ

Крутились приводные ремни заводов, когда-то ухваченных ими в перестроечно-постперестроечном то ли угарном, то ли управляемом хаосе.

(«Послушайте вы, богатые... плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет...» — предупреждает Евангелие.) Так вот свалившиеся в их торбы-сейфы «зеленые» ворохи условно-ценных бумажек дали им возможность меценатствовать, финансировать заезжих и местных режиссеров-актеров и (о великое везенье, полусчастье, нет, полное счастье!) удалось войти в несомненное доверие к наипервой местной власти, благодаря спецблаготворительности, то есть поддержке, подкачке камерных, вельми басолепных актеров.

В конце века выпорхнула тьма-тьмущая их, худодействовавших и лицедействовавших, державшихся тех, в ком чувствовали непотопляемых. Приотставших не подбирали. Теперь они чинно переоделись, участвуют в благотворительных балах-дарениях, прикупают себе бесценные камнескровица исторической недвижимости, поднимают бокалы за свое будущее.

И лишь редкие вспоминают — опять-таки евангельское: «Не собирайте себе сокровищ на земле...»

## ТУРИСТ ПО ТРАГИЧЕСКИМ ЗОНАМ

Один благополучнейший и вечно кликушествующий дал себе задание — проехать по бывшим лагерям заключенных. И проехал, и даже стихостроки об этом сочинил. Другой из действительно пострадавших наткнулся на те строки и откликнулся своими:

Шумный ехал по тем местам,  
Где когда-то гудел Сиблаг.  
Дерзко ехал по кость-мостам  
Пестрый, словно свободы флаг.

Он, вселенец, вздумал объять,  
Что вселенцам объять не дано.  
Вознамерился пострадать —  
Так страдают в дурном кино.

Злобный с детства и навсегда,  
И везде трубя про любовь,  
Шумный ехал... Что за езда —  
Размалеванная лжеболь!

Трагически прав истинный страдалец и истинный поэт Варлам Шаламов: «Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики».

Зрители... прохожие... читатели беллетристики...

В областном историко-краеведческом музее из сорока сотрудниц-женщин она ничем не выделялась: мелкорослая, смуглая, с робким намеком на смазливость, словом, бесцветная малышка-мышка; хотя, скорее (если допустить сомнительные сравнения со зверушками), злая кошка, хмурая, ненавидящая едва не каждого на пути встреченного; но исполнительная и тщеславная и потому надеявшаяся при поддержке верных знакомств через влиятельных родственников стать со временем директрисой.

После прорывного месяца в своем экскурсионно-просветительском отделе и последовавшего затем жесткого, хотя и увещательного, в надежде помочь разговора с новым директором, она, наглотавшаяся перестроечных пилюль развала в душе и на службе, вдруг почувствовала в себе жгучее желание восстать против «тирании», попрания прав человека и... стала писать во все концы, поощряемая бражкой шестистепенных журналистов, режиссеров, адвокатов, галеристов, в разные советы, фонды, комиссии по правам человека, в Европарламент и Гаагский трибунал, в областной комитет по культуре и в Министерство культуры (мелькали имена «гигантов отечественной демократии», якобы готовых защитить «пострадавшую»); дескать, директор заставляет ее перерабатывать сверх положенного, мало поощряет исполнительность и вообще удерживает «осколок Советской империи на главной городской улице», как пламенно-гневно выразилась ее подружка-норушка, журналистка из цветной газетки, сморчковая девица Косая-Косова, видать, никомушеньки не нужная, кроме своего диктофона.

И как инвектива, как мелкоосколочная граната, как безотказная, испытанная во все века ложь, — в инстанции, словно стрелы, отравой напитанные, полетели письма, в которых в соответственном лексическом обряжении сообщалось, что директор домогался ее, вернее, намеревался домогаться, вернее, в ее сне пытался ее домогаться.

От лжи и клеветы, прежде невиданных, директор стал страдать бессонницами и однажды, измученный ими, в ночь перед третьим судом так крепко уснул, что не мог проснуться даже от кошмарного долгого сновидения, которое можно было бы назвать «мышиным апокалипсисом». Сначала в весенний разлив Дона голодные их полчища бесконечной серой скатертью перебирались через реку и серым валом катились дальше, как саранча, все на своем пути опустошая; затем у здания суда появились мыши музейные, которых никак не удавалось извести; затем с барабанным боем, красочно разодетые, подступились мыши театральные; наконец с воинственным писком припожаловали несколько дюжин мышей — защитниц прав свободного мышиноного слова и пламенно-кристальной дружбы мышей и людей.

Наутро суд был выигран, музейную затейницу интриг и острых ощущений уволили. В завершение судебного разбирательства председатель суда, женщина независимая и смелая, даже мало-мальского страха не преисполнилась при виде большой «скамейки поддержки»: слетевшихся режиссеров, журналистов, адвокатов, галеристов, всякого рода наперсточников, черноволосой девицы по правам человека, готовой, как арбалет, стрелять в чужих, «обижающих» права ее дружков-подружек; чуть поддавшись эмоциональному и тут же взяв безукоризненно-деловой тон, служительница закона сказала уже бывшей музейной сотруднице: «Никто с

вами, с вашим характером и таким запасом лжи не станет работать: ни государственное учреждение, ни частная фирма».

Всех ненавидящая музейная сотрудница разными «постановами» склеила себе образ знатока жизни и творчества Костомарова, Кони, да вприхват и Витте. Никогда она их по-настоящему не прочитала, не осмыслила. Но вот после увольнения «воительницы» на разных рекламных столбах и досках появилось оглашение о ней, как ведущем знатоке русской истории, русской литературы, музейного дела, экспозиционных устройств. Только, видать, по новому, столь обожаемому ею времечку хватальчества и подмены всего и вся мало что светит и ей: везде требуются или молодые длинноногие красавицы, или всяковозрастные женщиныгении конкретного дела. А музейные дамы весьма редко бывают усаживаемы в кресла почтенных учреждений — разве что с родственной помощью или денежных нуворишей, или чиновных верхолазов, да и то на их времечко, которое затяжным не бывает.

## КОНЦЕРТ ДЛЯ МАЛОЙ АУДИТОРИИ

Молодая певица с прекрасным, словно иконный образ, лицом, явно смущающаяся, пела для полусотни человек, пришедших на ее концерт. Она пела божественно и о Божественном. Слушали тая дыхание.

Между тем за дальними километрами, в столице, ревел стадион, тысячи вскинутых юных рук — наше будущее, обворованное, оглушенное, опрIMITивленное; иступленно дергалась полыхающая вульгарностью певица; а севернее, еще в одной столице, опять же на стадионе, выгибался певец, похожий одновременно и на жениха, и на невесту. И далее — спортивные, зрелищные, заседательские залы, отданные певцам, разительно одинаковым, нередко безголосым, и сколько их в стране, и сколько их в мире — для того и надутых, чтобы утвердить ценности свободного рыночного общежития, свободу вседозволенности. Легионы ора, а не орала!..

Пела молодая певица — божественно и о Божественном, и когда до пояса поклонилась, пятьдесят слушателей и слушательниц встали в долгой молчаливой благодарности, и, казалось, крылья ангельские осеняли скромный зал, который увеличивался, расширялся, словно вбирая миллионы юных и пожилых сердец, бывших где-то далеко, и все же незримо присутствовавших и внимавших здесь.

## НУЖНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Даже друзей он старался не знакомить с местно-сильными мира сего, дабы его журналистское и писательское восхождение через дефицитные подарки, книги, цветы, конфеты, духи, бусы янтарные... не вгоняло в соблазн отношений «Я — тебе, ты — мне» других пишущих его собратий.

Обкомовские и едва не все райкомовские секретари, начальники сельскохозяйственных и строительных управлений, спорта, культуры, творческих союзов, ректоры вузов, директора Зелентреста, Ботанического сада, горпищеторга, гормолзавода были с ним, бессменным представителем корпункта центральной припартийной газеты, в наиприятельских или почтенных отношениях. Он добился этого, с прицелом на будущие «отдачи» давая в газете (весь ответсекретариат был у него в друзьях) то

зарисовки нужных лиц, то интервью с ними, а то и несколько строк, казалось бы, пустяшных, но весьма желательных для героя заметки. Как надувные шары, раздувались в весьма приподнимаемом значении и пишущие, и пишущий.

Его под стать объемному фолианту записная книжка была на две трети заполнена и у знатока или исследователя местной элиты вызвала бы несомненный интерес. Но никаким знатокам он не давал ее даже на пролист. Его же архив из всякого рода наград, благодарственных писем, почетных грамот и адресов разросся так, что занимал пол книжного шкафа.

Но однажды и враз все поменялось. Пришли новый режим, новая власть, новые временщики. Ушли его покровители, уволен был и он из редакции; унылый шкаф с наградными листами и металлическими знаками почета словно утратил свою весомость и отпрянул подальше в угол.

А записная книжка теперь бесцельно хранила нетребуемые фамилии знатных в области имен. Сколько цветов, духов, конфетных коробок прошло через их руки!.. Подарки, отдарки...

Почему-то ему именно при тяжелой болезни вспомнилось давно вычитанное духовно-меланхолическое изречение Тихона Задонского: «Пройдет дурное, пройдет и хорошее. Все пройдет».

## В СЕРЕДИНЕ ЗЕМНОГО ПУТИ

*С посохом — до середины земного пути? Только где она, эта грань? В середине естественного века человеческой жизни? Или и в резком обрыве личного века, и тогда — Андре Шенье, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов?*

*Один — в сорок лет благодатно и сполна завершает свою земную миссию, а другой и в восемьдесят жалуется, что ему не хватает еще четверти века, чтобы завершить земные дела. Тут, право, вспоминаются разъяснения Отцов церкви о том, что человеку дано прожить именно столько, сколько требуется, чтобы исполнить главные дела на земле. Но... не кажутся ли многим суетные их дела главными?*

## ГЕОРГИНЫ В НОЧНОЙ КОМНАТЕ

Ему было за сорок, возраст из тех, когда уже далеко до молодости, но далеко еще и до старости. И с чего бы это: неожиданно, вдруг вспомнил он о некоей последней преклонной любви, какая настигла Гете, Тютчева, Верди... здесь именитым фамилиям конца не увидеть. Как бы продолжая этот творческий ряд, его друзья пошутили, что, мол, и Клеопатра в свои пятьдесят лет была столь неотразима, что Антоний ради обладанья ею готов был отказаться от обладания Римской империей.

Но ему было не до древнеисторических любовных погружений: его мучили бессоницы, никаким боком не касавшиеся египетской царицы.

В загородном, обьятом ночной тишиной и мраком доме, в большой спальней комнате он лежал и слышал, как что-то шуршало так, словно бесчисленные мотыльки тревожили ночной воздух. Он долго не хотел подниматься, но все-таки встал, зажег ночник. В вазе на прикроватной тумбочке три крупных мохнатых черно-красных георгина сбрасывали свои кровавые лепестки. Сыпались шумнее, чем если бы самый сильный снег. И уже поверх стеблей на месте мохнатых красных головок нагими

копьецами теснились тычинки, а у подножия — кровавые капли, как слышимый георгиный крик.

В родном селе в далекой юности мать и в палисаднике, и на огороде щедро разводила георгины, и он дарил их тонкой, будто и не сельской девушке со странным для тех мест именем Элина. Их взаимная улыбочивая нежность переросла, как и растущие цветы, в любовь. Иногда им было грустно от неясных предчувствий тяжелой и разлучной жизни, хотя и не однажды он балагурил: «Пусть будут у Элины три вдохновенных сына, как эти георгины...»

И вот в свои за сорок он думал, почему тогда ему не попался на глаза опадающий георгин; может, сподобил бы жить строже, разумней, покорней в понимании того, что все на земле проходит, увядает, осыпается.

Но, наверное, каждому имени и возрасту — свой невидимый закатный час. И тогда его георгин, наверное, не мог ронять лепестки отжитого, да он бы, юный, и не услышал шорох лепестков опадающих...

### ОСЫПАЮТСЯ НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ

В каком-то научном журнале он вычитал, что после тридцати лет у человека ежедневно отмирает более тридцати тысяч нервных клеток. И чем ни тяжелее день, тем больше отмирает. Поутру обидел жену — отмирают. Не проведаль больного, расстроился из-за этого — отмирают. Разругался со своим непосредственным начальником — отмирают. Промолчал на собрании, когда бы надо возвысить голос, — отмирают.

Он живет и чувствует, как от суеты, стыда, боли, раскаяний отмирают его нервные клетки, осыпаются, будто листья с осеннего дерева под жестокими порывами предзимних ветров.

И года осыпаются... где они, его двадцать, тридцать, сорок лет? И что он скажет за свои прожитые пятьдесят?

### ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК — ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

Часы без стрелок — несуразица, бессмыслица. Видеть их то ли грустно, то ли суеверно неприятно. А какой дивный механизм! Серебряный футляр, верхняя крышка закрывает стекло циферблата. Может, они единственные такие, над ними долго и ревностно колдовали тонко чувствующие руки мастера, потомственного часовщика-швейцарца. Часы воплотили в себе научную мысль, понимание красоты и целесообразности. Но при отсутствии стрелок это чудо мастерства с изящными колесиками, приводами и прочими продуманными вещами становится ненужным, бесполезным предметом. Превосходный механизм вращается впустую, так как без стрелок не может указывать время, то есть не выполняет своего назначения.

Таков и праздный человек. Вся его жизнь является суетой, не приносящей блага ни ему, ни людям. Он, с дорогой золотой цепью на шее, может пребывать целый день на ногах, но только в поисках того, что считает удовольствием, отрадой сытному, приапическому, телесному. Суета сует есть вращение механизма, не имеющего стрелки.

Праздность — беда многих. Слово «праздный» — однокорневое со словом «праздник». Но нельзя всю жизнь пребывать в празднике. Верные слова: «Праздный человек — что часы без стрелок».

Ему далеко за сорок. По ночам он мучается бессонницами, головными болями, которые не в силах погасить ни таблетки, ни даже любящая женская рука. В молодости ему хотелось в беспричинном ликовании обнять весь мир — от полноты благодарности земному и небесному, от избытка телесной упругости, биологически здорового, юношеского.

Теперь все куда-то подевалось, теперь... равнодушие, холодок гнетущего чувства: каждый умирает в одиночку. А до поры патриаршей мудрости, когда суета сует осыпается, как шелуха, когда приходит чувство гармонии духовной, он, знает, не доживет.

Ему дали путевку в Гагры, но, узнав, что страдает плохим сном, предупредили: «Хороший Дом отдыха, только мимо проходит железная дорога. Погромыхивает». До отъезда оставался месяц, и весь месяц, в ночные часы, в его голове, грохоча, проносились электрички и дальние экспрессы. И, даже спящий, он ожидал: вот-вот загрохочет!

Когда подошел срок путевки — так и не поехал.

Из темени густого лесопарка через просветы стволов и ветвей зыбко и отчетливо видно, как на освещенной танцплощадке пионерского лагеря танцуют подростки — отроки и отроковицы, как прежде изъяснялись. Там увлеченность и робость, страсть и нежность, неумелость и первое телесное знание, там сияние карих, синих, зеленых глаз. Это недалеко, в нескольких десятках метров от него, сорокалетнего, и все же — он словно вглядывается из другой жизни, другого времени, из другой, далекой планеты. И скрашенное благодарной печалью наиболее сильное чувство в нем: отжито, прожито, бессмысленно... И был ли он?

Он не стал наряжать елку, в полузабытьи вообразив вдруг, что та, которую любил, придет, и они все сделают вместе, как прежде. Он прождал ее всю ночь в своей одинокой квартире, и когда стихли шумы за стенами и на улице, когда город отпраздновал, оттанцевал, утомился, обесиленный винами, любовью и надеждами, когда стало рассветать за окнами, принялся наряжать елку теми немногими игрушками, какие любил она.

Она не пришла, потому что не могла прийти оттуда, где дверь открывается лишь в одну сторону, а темную или светлую — по земной жизни человека.

## СТЫДЯСЬ НЕОЖИДАННОГО ЧУВСТВА

Странное неожиданное чувство, где свет и темная страсть, смятенно соединяясь, словно бы возносили его вверх на невидимом лифте, может, ковре-самолете, и захватывало дух от высоты и ветра. От неожиданности. Было радостно от этого чувства, которое он, пятидесятилетний, вдруг ощутил к милой, улыбчивой, с карими раскосыми глазами девушке — невесте своего племянника, разумеется, не подозревавшей, что почувствовал пятидесятилетний. С предраскаянной горечью он подумал: почему же с женой, куда более красивой в молодости и рано отцветшей, он не пережил этого обвального чувства, где свет и темная страсть, смятенно соединяясь, словно бы возносят вверх на невидимом лифте, может, на ковре-самолете, и захватывает дух от высоты и ветра. А теперь, что ж, стыдно

и никому не расскажешь. Обрыв креплений, ковер-самолет сбросил его с семикилометровой высоты над уровнем моря, и пропасть разверзлась...

Он увидел себя семилетним мальчиком, стоящим на песчаном берегу Дона, и волны щекотно окатывают его ножки, и хочется ему, семилетнему, нет, уже семнадцатилетнему, обнять не только весь Дон с купающимися молодыми красивыми девушками, но и сколько их ни будь — тысячелетий всемирной истории.

\* \* \*

«Земную жизнь пройдя до половины» —  
Всем нам поэт означил грустный путь,  
Коль грех от нас исходит — пламень льдины,  
И с грешного пути нам не свернуть.  
Но, может быть, в грядущей жизни нашей,  
Коли пройти ее всерьез дано,  
Нас отрезвит Всеискупленья Чаша,  
Испитая Спасителем давно.

## СТАРИКИ И ВНУКИ

*Стариковские посохи длинным рядом стояли прислоненно к стене школы. Не сельской администрации, не сельской амбулатории, а именно — школы. Стариков не видно, были ли они вообще, трудно сказать. Может, эти посохи — как незримые послания тем юным, которые набирались знаний в классах большой, земских времен школы.*

*С древности род человеческий понимал, что развиваться, совершенствоваться он может тогда, когда старшие передают свой трудный опыт младшим. С другой стороны, древние и их религии наставляли молодых почитать отца-мать, всех, доживающих некроткий век на земле. Хотя и в древности всяко было: и сыновья, шедшие на отца, и отец, умертвляющий сыновей, — из-за власти ли, из-за богатства, из-за отсутствующего или утраченного кровнородственного чувства. А в нынешний век? Наиболее ранимые и чуткие, о которых корыстные возглашатели новейших свобод отзываются как о замшелых архаистах, уже называют его сатанинским, антихристовым, глобально-капиталистическим, растлевающим и попирающим евангельские традиции, выстраданные порывы человека к высокому, справедливому. Какие мать и отец, если их отменяют и заменяют родитель номер один, родитель номер два, а в иных западных странах уже юридически запрещаются слова: мать, отец, Родина?!*

## ВСЕМИРНАЯ БОЛЬНИЦА

На сорок седьмом году, под самый сочельник его выписали из давно выстроенной лечебницы — больницы большого города. Но и выписавшись, трудно было мыслями освободиться от здравоохранительных палат, где не только выздоравливают, а и помирают: перед глазами нет-нет да и возникала та суетливая, со снованьем врачей и медсестер, жутковатая ночь, когда его соседа по койке, вмиг скончавшегося от закупорки кровеносной жилки, уносили в покойницуку.



Три года назад потерявший в роковом авиарейсе свою прекрасную жену и столь же прекрасную дочь, он не спешил обзаводиться новой семьей, да и не уверен был, что когда-нибудь семейное гнездо склеится повторно.

В одинокой, не тревожимой родными голосами квартире он долго сидел на диване, не зная, чем заняться. Оставалось полсуток до Нового года; он вытащил из антресоли картонный ящик с многоцветными игрушками и гирляндами, которых хватило бы на полдюжины домашних елок, и стал их перебирать, вспоминать... За каждой игрушкой были его дальние поездки, а по возвращении — сияющие от радости глаза ребенка.

Вспомнилась ему и его школьная елка после войны — бедно убранный, покрытый бумажными красными, желтыми, черными лентами, словно траурными лентами будущих обездоленных невест. У него еще в детстве вызывали огорчение и даже боль поломанные кустарники и ветки, порубленные вязы и сосны, любящие зеленые, вверх тянущиеся ростки природы. И однажды, уже в юности, он подумал, сколько же елок во всем мире рубят под Новый год, и увидел вдруг, как миллионы их, вырубаемых, убиенных, истекают слезами из-за преждевременной гибели; явственно и навсегда увидел, как они плачут. И когда появились искусственные елки, он, мало принимавший синтетическое, стал убеждать своих знакомых приобретать елки именно синтетические.

Уже темнело, когда он вызвал такси и отvez елочные игрушки в детскую городскую больницу, заранее видя сияющие от радости глаза ребенка, похожего на его дочь в детстве. В больнице игрушки приняли едва ли с удовольствием, сказав, что они еще должны пройти санобработку, а потом, может, на Старый Новый год ими порадуют больных детей.

Город готовился к празднику, всюду — в беге машин, в электрическом полыхании каменного, бетонного, железного, стеклянного мегаполиса чувствовалась большая сила человека и прогресса, часть которой в самый разгул праздника перейдет в дурную силу, несущую беду.

И подумал, вернее, почувствовал, а скорее — сполна отдался чувству, что весь мир, давно ли сошедший с ума, — большой мир. Больничный корпус даже там, где его нет. Всемирная больница, где никто никого не вылечит.

И только короткое спасение человечества и оправдание ему — сияющие от радости глаза ребенка!

## МАЛЫШ И ДЕРЕВЬЯ

Каждый вечер дед Вик-Вик подносил двухлетнего внука Андрейку к окну, за которым располагался весь в травах, кустарниках и больших деревьях изумрудный благодатный уголок. Их дом отделяла от детского сада и школы полоса с деревьями, и были там пирамидальные тополя (высокие), березы (ласковые), липы (целебные), клены (остролисто-надменные), рябины (узорчато-нежные). И внук вскоре научился различать их кроны, стволы, листья, так как на каждой прогулке дед рассказывал о каком-нибудь дереве как о выдающейся личности.

А ночью, когда ребенок вдруг плакал, просыпался, то ли чем напуганный, пораженный, дед подносил его к окну и успокаивал: «Смотри: и тополя, и березки колышутся, беспокоятся о тебе. А взглядишь, как всеми листиками плачет ива, она не хочет, чтоб плакал ты. Ночь спит, давай и мы спать». И внук засыпал на плече деда.

Позже они обнаружили в прикорневине березы большое дупло, ничем не защищенное, только разбитые бутылки сверкали острыми осколками, а нижняя часть ствола была испещрена дурными словами. «Диди, это нехорошие люди бутылки набросали? Давай поможем березке, давай ее вылечим!» Они принесли краску, ведро цементно-песчаного замеса, прочистили, просушили и залепили дупло, закрасили сквернословные предложения-змеи, и через месяц, после спокойно-сильных дождей, березка словно стала крепче, зеленей, и ветви ее будто приподнялись, перестав выглядывать безутешно плачущими.

Зато грустнее стала дядя с внуком история с тополем. Могучий пирамидальный тополь неподалеку от школы, который в бури защищал и молодые деревца, и школьников, был однажды поражен убойной молнией, под основание спилен, остался только пень-круг, черный изнутри от налетчицы-молнии. Дед и внук на прогулках стали постоянно подходить к убитому тополю, садились на пень, и внук часто повторял: «Тополь погиб, тополь умер!» — «Ты не говори так, — утешал его дед, — тополь погиб только верхней частью, стволом и кроной, а под нами, смотри, уходят на глубину корни, и они живые, и они слышат нас, и им хорошо, оттого что мы приходим и благодарим их за то, что они защищали деток и деревца от ветра и дождя. Так что тополь жив корнями».

И с той поры внук, неизменно зовя дядя к тополю, утвердительно произносил: «Тополь погиб, но тополь живой!»

А чуть позже, в осень, они уходили на безлесый загородный бугор, и дед сажал малоростки рябин, ясеней, кленов. Внук спрашивал: «Зачем, диди? Все равно плохие люди ломают, или плохие козы погрызут, или плохая погода нашьлет молнию».

Но дед когда-то в молодости на укрепу дамбы спилил до сотни молодых ясеней и чернокленов, и они ему снились, спиленные, порубленные, и он знал, что только тогда уснет спокойно, когда почувствует, что живущие деревья простили его.

## ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ — ВРЕМЯ В ПЛЕНУ

За долгие годы друзьями и организациями подарены были мне десятки часов — и ручных, и настольных, и настенных. Многие так и валялись хламом. Мой пятилетний внук очень любит возиться с часами. «Играть-ся со временем», — называет он.

Игры эти нередко заканчиваются тем, что в очередных взятых им в руки часах ломаются или теряются стрелки. Внук смотрит невинно-попугавыми глазами и признается, что они оказались нечаянно сломанными — от трудного спора со стрелками. А я думаю: нет, милый обожаемый внук, со временем не играют. Время проходит? Время вечное. А вот мы, сотни поколений, проходим, уходим в эту самую вечность.

А в последний год внук, уже семилетний, перешел на песочные часы-десятиминутки. Внимательно, зачарованно, философски наблюдает, как сквозь теснину горлышка тихой струйкой истекает песок. И вдруг произносит: «Здесь время в плену. А вообще время идет вразнос. Дедушка, мы спорили с тобой о гармонии и хаосе. Так вот мне кажется, что победи хаос».

Его еще можно ласково обнять, переубедить, увести от томящего душу и бесплодного разговора о хаосе.

С радостью ощущаю, что маленькие родные внуки — лучшее из данного человеку в старости; и с неискупимым чувством потери вижу, что мои внуки, прекрасные, отзывчивые, чуткие, но и не жизнестойкие, не жизнестойкие, обидчивые, рассеянные, упрямые, иногда дерзкие — расплата за грехи моих далеких и близких по времени родных, за мои грехи, пусть и не библейски особо названные и караемые. Да, генетика моего рода и породненных с моим...

Старшему внуку скоро семь, а чувствует и рассуждает, как если бы ему было двадцать семь. Умница, юный философ, почему ты постоянно грустен? Клубок болезней — от неутомимых аллергий до астмы. Прежде тебя какое созвездие ярких и знаменитых носило тебе данное имя — начать с Андрея Первозванного! А далее — князь Боголюбский, иконописец Рублев, ушедший с Родины князь Курбский, писатель и естествоиспытатель Болотов, геополитик Снесарев, поэт Белый, писатель Платонов, авиаконструктор Туполев, создатель водородной бомбы Сахаров, режиссер Тарковский... Не говорю уже про иностранные знаменитости.

Издредка он играет в солдатики или что-то конструирует, но долго ли удается пребывать в игровом влечении, когда мой юный философ, моя кровинка-капелька в философской реке бытия снова и снова возвращается к тревожащему: «И все-таки, дедушка, хаос непобедим!» Сколько раз мы детски-взросло беседовали о гармонии и хаосе, о Пушкине, носителе гармонии, и о цветах зла. Как он точно и верно чувствует, что происходит в мире. Ему было достаточно однажды увидеть мелькающих на экране Сороса, чету Клинтон, Коломоййского, Оланда, Турчинова, Порошенко, чтобы тут же сказать: «Они нехорошие люди! Недобрые, мелкие...» Как удивительно в его возрасте сопрягается понимание исторического, социального, философского, лирического, игрового!.. Он часто вспоминает своего крестного, моего сына, тоже философа и поэта, столь трагически завершившего земной путь.

А меньший (опять-таки набор обронзовелых имен от Александра Македонского и Александра Невского до Александра Пушкина и Александра Блока) в четыре года не разговаривает, разве что произносит дватри изначально простейших слова. Улыбчивый, добрый, но жизнь его постепенно озлобляет: ведь когда на празднике все поют, он разве что приоткрывает рот, чтобы не выделяться из стайки радостных детишек. И какой исихаст поддержал бы его, и какой врач поможет ему?

Чувствую, что ныне весь земной шар болен. Болеют все континенты. Болеет моя великая несчастная Родина. И для меня невыносимо тяжкое — болеют мои внуки, а я им ничем не могу помочь, как помог бы, будь помоложе и в иных силах. И в часы бессонниц я понимаю своих сверстников, дедушек, некогда сильных, деятельных и могших прокормить род свой, а ныне — беспомощных и кругом чувствующих себя виноватыми.

### СРЕЗ ТОПОЛЯ ПИРАМИДАЛЬНОГО

Убийство пирамидального тополя совершалось в осеннюю ночь на затравелой, дикоцветной, ничем не занятой полянке, примыкающей к хорошо освещенному стадиону. Прорвало трубы, над которыми тополь взрастал, и местная служба МЧС не задержалась в решении срезать под корень чреватое опасностью дерево.

С седьмого этажа старик, далеко за семьдесят, глядел на неумолимо уменьшающийся тополь, который более полувека рос на его глазах и более полувека радовал всех. Тяжело, отжито было видеть, как четкие спецмашины сперва отпилили главные ветви и густо просыпались желто-зеленые листья, затем срезали верхнюю часть ствола, затем — нижнюю. Остался лишь прикорневой срез, могучий кряж, словно бы удивляющийся себе самому.

Старик глядел на необхватное голомя и думал, что был в молодости подобен тополю. Как ветви его вбирали солнце, дождь, снег, так и он вбирал и солнце, и радость общения с людьми, которых узнал и с которыми по-доброму общался и в родном селе, и родном городе, и великих мировых столицах. Сколько в жизни, слава Богу, было хорошего, прекрасного!.. Постыжение реки детства, холмов, полей и лесов, где каждое деревце, каждый горицвет или пион-воронец радовали его сердце сокровенным проявлением живой, естественной жизни! Каждая полянка — что вселенная!

Но верно молвится: жизнь прожить — не поле перейти; выпало много потерь, тьма зряшных растрат сердца, нервов, души. Он если не все, то многое пережил, перестрадал от недоброго. Нет, он не был так наглядно срезан, как этот вдохновенно устремленный ввысь тополь; но всю жизнь он бился на стрежне волны, и кто из зависти, кто от природной злобы сокращали ему жизнь. Остервенелые лаи от неумолимой ризлторши до маловоспитанной музейной сотрудницы или какого-нибудь легионера свободных профессий. А в юбилейные дни, недели, годы особенно «везло»: всякого рода мужи творчества изощрялись в эпистолах зависти и клеветы... Измучился он и от не сложившейся жизни дочери, сполна испытавшей злобы дня и наветничества двух сослуживцев; обжегся и о предательство хороших знакомых, об интриганство нечаянных родственников, мелкую неприязнь холоднодушной, жесткой племянницы с загребущим муженьком — все это солью отложилось на сердце.

Самое же страшное (как только можно было выдержать!) — он в один месяц похоронил дочь, мать, друга. После их смерти часто поступал невпопад, прежде снисходительный к людским слабостям, стал нетерпим, все чаще бывал вспыльчив и раздражителен, не мог себя контролировать, то молчал, то взрывался, спровоцированный кем-то и чем-то, на крик отвечал криком, не владея собой. А может, просто по возрасту, уже обременительному, он стал таким мрачным, совсем не благостным к близким и знакомым, ибо *«и наблюдал людское племя и, наблюдая, восскорбил»*.

Как все изменилось на перетоке тысячелетий; за малые полвека как за пять предыдущих веков, да нет — как за два тысячелетия, когда Евангелие пророчески возвестило будущее — апокалиптическое.

Он видел могучий сруб тополя, и сам, быть может, чувствовал себя подобно этому тополю, ветви которого увезли, и сиротски стлалась по встревоженной траве желто-зеленая россыпь листьев, их опад и сбой; и поляна вокруг была истоптана, как... не однажды истапывалась его Родина. Что будет с нею на этот раз?

Тополы, дубы, вязы, клены, ясени, липы, березы... Он знал, чувствовал почти все, на всех континентах растущие деревья, эти «легкие планеты», эти вселенные, он знал и помнил их дивные образы, иные уже погибшие, как библейский мамврийский дуб, или запорожский дуб на Хортице, или же страшной мачтовой вознесенности дуб в Шиповом лесу...

И сколько же их, древесных пород, человек уничтожил — от России до Южной Америки, от Африки до Канады!

Он спускался с седьмого этажа и подходил к прикорневой глыбине с видимыми, уходящими вглубь корнями. И лишь на третий раз заметил зеленые отростки возле пня и на самом пне; они давали надежду, и он неожиданно для себя стал тихо напевать песню о деревьях своей молодости.

## ДОЛГАЯ НОЧЬ

Ночь — как вода в озере. Сколько еще до рассвета? Старик поднимается и зажигает рожок простенькой люстры. Третий час. Хотя изношенные ходики с потерявшей голос кукушкой и тикают, время будто не движется, будто и для него волей Творца определены остановка и даже сон. Еще пять часов темноты. Ночь — как неделя. Ночь — как вечность.

Старик набрасывает на усохшие плечи тулупчик и выходит во двор. Поначалу темно. Но звезды струят свой вечный свет, и глаза постепенно различают сначала ближнее, затем и дальнее: осокори на леваде, вытянутое по взгорью школьное здание, бугристое кладбище за ним. Тихо в селе. Раньше движок местной электростанции погромыхивал в ночные часы, теперь свет бесшумно поступает от единой энергосистемы. Тихо, лишь на залужном краю села одиноко лает собака, другие ей не отвечают.

Старик выходит со двора, медленно тянет шаги по утопанной вдоль забора тропинке. Почувствовав в теле холод, возвращается в дом, ложится. В соседней комнате спят внуки, в самой дальней — его сын и невестка. Спят непробудно, бык заревет — не услышат. А ему не спится. Почти пять часов до светанья! Тикают ходики — последнее, что осталось от довоенной поры. Как напоминание о его тогдашней силе, израсходованной на необозримых холмах войны.

Думает о том, сколь длинна стариковская ночь и сколь кратка ниважная человеческая.

Ему хочется перевести ходики, немножко обмануть время, попасть в засветло, но... Долго тянется ночь. Как неделя. Как вечность. Пусть и не та, что скоро предстоит ему, но все одно — уже мертвая. А ходики тикают, их не остановишь, а если и остановишь — они все равно не перестанут тикать в ушах. «Наверное, тикают и на том свете. Только Господь Бог в силах справиться с ними!»

С грохотом мчатся поезда и сходят с рельсов. Летят самолеты и низвергаются под огнем. Уходят на дно океанские корабли. Взрываются высотные здания. Гибель, гибель, гибель... И в тех миллиардах захороненных и незахороненных — сколько погибших от крушений, завершивших свои земные дни не своей смертью! И старик чувствует, как он приближается к тем, кто ушел туда — примиренный или непримиренный. Он слышит: часы тикают, им нет дела ни до живых, ни до мертвых.

\*\*\*

Твоя ли жизнь — не клумба под цветами,  
Твоя ли жизнь — под пестрыми грехами...  
Не спросит внук, по совести ли жил,  
Не спросит внук, кому помог, кем был...

Себе, старик, ответь — ответ тяжелый,  
Что меч над неразумной головой.  
Твоя ли жизнь — как будто град сожженный —  
Покрыта сплошь безрадостной золой.  
Ты жизнь и смерть высокой мерой мерил,  
Спешил помочь, трудился и любил,  
Стремился жить по совести и вере.  
И все ж обманы века не избыл,  
Коли плутал ты на дорогах ложных —  
Напрасных, обезбоженных, корежных!

## МОГИЛЫ МИРА

*Посох часто утягивает на кладбища, и бывал я на многих. В древнейшем и славнейшем среднеазиатском городе, знавшем еще непобедимое войско Александра Македонского и упокоившего прах Тамерлана, я ступал по некрополю разных племен, народов, религий, где в задумчивой примиренности, под плитами с истертymi надписями на арабском, еврейском, русском и иных языках покоились некогда славные (или бесславные) родовитые воины, купцы, строители.*

*Кладбища остужают желанье греха.*

## МАТЕРИ И УШЕДШИЕ СЫНОВЬЯ

Мать, в промозглый мартовский день стоя у свежесыпанной могилы сына, беззвучно повторяет: «Ему же там холодно! Ему же там холодно! Всегда мокро — снег растает, дождь пойдет...»

И тысячи матерей в тот же час повторяют почти такие же слова. А дети их — кто погиб в горном бою, кто разбился в машине или самолете, кто скончался от надрыва сердца, а надрываются сердца и от дурного, и от хорошего: от водки, наркотиков или же от полевой, устроительной, мозговой страды.

## НА ГОРОДСКОЙ ОКРАИНЕ

Группа писателей из среднерусской полосы в спецавтобусе мчалась из одного кавказского города в другой. Вдвоем с другом они разместились на переднем сиденье. На выезде из города он увидел... он увидел... и... похолодел. Посреди встречного полотна дороги лежала лицом вверх маленькая девочка, похожая на большую куклу, и машины на бешеной скорости уворачивались от нее, не останавливаясь. Может, кукла? Он чувствовал, что это видел и его друг, но тот молчал.

— Ты видел?

— Это кукла, — коротко и внешне спокойно ответил друг.

Они приехали в большое селение. Когда-то он преподавал здесь, и вышли люди встречать их, вся школа встречала, и столько девчушек, а у него не выходило из памяти дорожное видение.

Когда возвращались назад, ничего на том месте не было. И машинный поток несся по-прежнему. Уже в гостинице, перед сном, друг сказал:

— Это была девочка!

Он так и не уснул в ту ночь.

Но он и — случись наваждение — подумать не мог, что в шестнадцать лет надругались бы над нею, как надругались над ее подружкой, когда та в вечерний час шла через пыльный скверик.

## АУСТЕРЛИЦ

Близ Аустерлица не стал ты фотографироваться у «Могилы мира», вызвав недоумение и даже раздражение туристской писательской группы. Почему отказался? Да потому что никто из приезжих, и ты среди них, кровью не разделит той для кого-то славной, для кого-то позорной и для всех трагической битвы. Стыдно выставлять себя там, где все еще невидимая корчится скорбь.

А теперь? Ты не желаешь быть сфотографированным? Теперь тебя тысячекратно «запечатлеют» и нет возможности защитить свое нежелание, как вообще нет возможности защитить свое достоинство, свое имя от всевидящего, всеслышающего охотничества папарацци, от зависти, клеветы, интриги.

## БЕЗ НОВОДЕВИЧЬЕГО КЛАДБИЩА?

Сон был совсем не из тех, какие видеть в радость. Перевозились останки раскопанных могил с Ваганькова и Новодевичьего кладбищ на некий вселенский, великоостровной, аж в Северном Ледовитом океане человеческий могильник. Разрушали столичные кладбища. Что похороненные здесь Даль, Саврасов, что Булгаков, Твардовский, Шукшин, что великая классика века девятнадцатого! У кладбищ собрались толпы, вялые, вяло комментирующие. «Выкупили все пространство новые богачи, нувориши-прохоркины...» — «Разрушают кладбища, говорите? Да что кладбища, когда страну разрушили!» Кто-то уточнил: «Страну рушат, когда память отнимают. Память отнимают, когда ломают церковь, дом, кладбище».

Нетронутым оставалось надгробие «конституционного гаранта» в виде лавы красно-сине-белого полотнища. Залили так, чтобы никто не покусился на могилу, до которой, право, почти никому, кроме хваткорухой «семьи», не было никакого дела.

## В БОЛОТАХ ОНИ, БЕЗЫМЯННЫЕ

Да, они безымянные. Отважные и робкие, добрые и недобрые, защищавшие Отечество и его тогдашний общественный строй по душевному волнению, надежде, вере в светлую справедливость, или обиженные послеимперской, революционной властью и гонимые на фронт государственной дланью. И если одних отряды памяти находят на холмах, в лесах, то как можно найти тех, кого утянули бездонные болотные глубины и вязи (и какой здесь посох поможет?), тех отважных и робких, от которых ничего не осталось, кроме сопутствующего железа?!

\* \* \*

Погосты сельские, кладбища городские...  
Могилы братские, могилы одинокие...  
Лежат чужие и лежат родные —  
Весь мир изрыт могилами глубокими;

Не только на больших мемориалах —  
На дне морей, болот, ущельных речек  
Покоятся они, бойцы, — усталые  
От бесконечной тяжбы человечьей.

## ПАМЯТЬ

*Посох, брошенный в реку детства, вдруг возмутит воды, и оттуда враз поднялась большая память — образы, картины, события, дороги, встречи — то, что произошло в моей жизни и в жизни бывших поколений и столетий, и я увидел происшедшее на всем земном шаре, и голова словно раскололась от боли и радости увиденного и пережитого.*

## СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Третью веку назад, в детстве...

Утром разговоры старух о конце света, а в полдень — солнечное затмение. Старухи крестятся, а нам, пятиклассникам, учитель дает закопченные стеклышки, чтобы не обжечься глазами о «конец света». Мутный, пепельный диск, и все видимое — в небе и на земле — как бы посыпанное пеплом, все — призрачное, неживое. Поначалу жутковато. Но постепенно успокаиваемся, сквозь закопченные стеклышки глядим на высветляющийся диск... Третью веку назад, в детстве.

## МУЗЫКА

Рядом с его девятиэтажным домом — музыкальная школа, и по вечерам он, стоя на балконе, видит, как сосредоточенно, степенно идут тоненькие дети, прижимая к груди большие футляры, в которых томится музыка. Сколько внутри красивых, отливающих медью, серебром и лаком духовых труб, скрипок, виолончелей!

И ему, средних лет городскому жителю, в юности оставившему сельский домишко, вспоминается детство и его самодельная балалайка, в которой было больше дребезга, нежели чистого звука; да еще вспоминается легкая зависть, какую он испытывал к форсистому парню Пекарю, владельцу «хромки», единственной гармошки на все село. А еще вспоминается, как он однажды плыл по Дону на катерке, а на берегу стояли в одинаковых синих платящих две девочки раннешкольных лет, может, сестры-близнята. Одна держала на вытянутых ручонках раскрытые ноты, а другая играла на скрипке, и хотя он за гулом мотора не мог уловить мелодии, но он все-таки слышал те наивные прекрасные звуки. Он их и годы спустя слышал.

Стоя на балконе, он, быть может, и сейчас их слышит, глядя, как маленькие дети несут музыку в больших футлярах.

## НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ В ЖИЗНИ

Нет ничего лучше в земной жизни, когда по траве-мураве к песчаному берегу незначимой речонки бежит смеющийся малыш, и счастливый отец подхватывает его у воды, и ребенок смеется так самозабвенно и широко, что, кажется, в тот миг умолкают все пушки и дразги грешного мира.

Нет ничего лучше, когда малыш чистыми глазами провожает табунок стригунков на зеленом лугу и глаза малыша становятся светло-зеле-



ными, а сам он так тянет ручки к убегающим жеребяткам, словно хочет обнять всю вселенную.

Нет ничего лучше, когда девочка-отроковица в притемненной, скромными свечами зыбко освещаемой церковке самозабвенно молится перед образом Богородицы Всемилоливой, и сама еще чиста, непорочна, безгрешна, словно осененная благодатью Девы Марии, Пречистой Владычицы, Пресвятой Богоматери.

Нет ничего лучше, когда вишневые сады расцветают и их не терзают топор и пила, или когда нивы созревают и их не губят дожди и бури, или когда правый полк побеждает рать злых и никто его не бьет вероломно, со спины.

Нет ничего лучше, когда трое внуков, выключив компьютер и не втягиваясь в жестокие виртуальные и реальные игры, слушают рассказы дедушки — они о страде и войне, о любви и доброте, они — «устарелые» — о подвигах, о доблести, о славе...

## БЛОКНОТ-АЛФАВИТ

Алфавитный блокнот выглядел как добротная книга: из плотной белой бумаги, в кожаном переплете. Два-три листа на букву — от А до Я. Десятки фамилий. Слово дом, избыточно населенный.

Когда же владелец блокнота переехал в новый микрорайон, ему долго не могли установить квартирный телефон, и не было надобности листать алфавитный блокнот. А когда, наконец, после долгожданной установки телефона снова открыл блокнот-алфавит — словно открыл книгу разлуки и скорби. Близкие друзья, случайные хорошие и нехорошие знакомые — сколь изменились они и их судьбы с той поры, как он занес их в прочный, будто на века рассчитанный блокнот. Одни стали весьма известными, другие замечательными, хотя и не столь известными, третьим ни известности, ни замечательности не прибавилось.

С одними он по-прежнему дружески встречался, с другими рассорился, и пути их разошлись, третьих оставил и забыл. Но все они были здесь как бы уравнилены и породнены, и эта уравниенность и породненность простекали из одного грустного, чтоб не сказать — печального источника.

Что ни лист — резко ударяли по глазам имена, какие вышняя сила уже обвела траурной каймой; уже не было в живых многих, причем многих его сверстников, однодков; уже в подшивках пылились газеты с некрологами, а иные ушли и вовсе без некрологов. Он чувствовал: настал час смирения, примирения и прощения. И — прощания!

## ПОМНИТ ПРИРОДА

Едва стал себя осознавать в мире, я почувствовал многое из того, что случилось в человеческой жизни. Может, счастливые географические просторы страны детства, уходящие в загоризонтную даль, рождали во мне это чувство. Дон (великая река моего детства и великая река человечества — великая наполненностью не вод, но геологического и исторического бытия), навевал картины прошлого — переправы, сечи, мирные дни давно ушедших племен и народов. Но не только он. Дуб в поле, ворон на нем, давно погибшие в поле воин и его друг-конь — их память, словно в меня переселенная, дышала вокруг, эта память давала мне увидеть тысячи лиц, событий, трагических всполохов былого.

дереву-дубу тысяча лет,  
образ былинный.  
памятью дышит, словно поэт,  
дуб исполинный.

черному ворону — тысяча лет,  
материки облетает.  
карк — что из прошлых столетий совет,  
память всетайных.

синему Дону — какие века,  
ведал и мир, и войны.  
не полноводней других река...  
все — до капельки — помнит!

вышнему небу — какая новь?!  
что ему — тьмы поколений?!  
в нем наша вера, наша любовь,  
память вселенной!

## ПОЖАРЫ И ПОТОПЫ

*У вод ли чистых Иордана... Водой Иордана был крещен Христос. И Духом святым. Его, Спасителя, как свидетельствует Евангелие от Иоанна, пронзает копьём, и истекают кровь и вода...*

*Кровью залит мир. Наводнениями-потопами залит мир. А еще великими пожарами, потоками огненных лав, исторгнутых в разные времена сотнями вулканов, а еще пожарами войн, набегов, бедствий, засух...*

*И грозно рдеют сполохи Конца, когда вселенские громы грянут, молнии пронзят Вселенную, и потоки зальют землю, равнодушные к векам и тысячелетиям человеческих страданий. (По-разному может произойти: человечество завершит свой путь от удара небесных камней-исполинов, от жестоких переохлаждений или потеплений на земле и в атмосфере, от поднимающих бунт роботов, от водорослевых и зарослевых мировых бацилл...) Но за всем этим — неотвратимые пожары и потопа.*

*Мы их, разумеется, не увидим — последние пожары и воды. Может, это случится через тьмы и тьмы времен. А может, час уже близок. Осторожные футурологи ничего определенного не утверждают.*

*Но однажды (моления наши не замолят грехи наши) взиграют все старые и новые, материковые и островные, большие и малые, давно спящие или вечно погромыхвающие вулканы (Ключевская сопка, Этна, Везувий, Гекла, Кракатау, Килиманджаро, Орисаба, Йеллоустонская гряда...), сжигая прошлое и настоящее, во мрак вселенский погружая будущее.*

Горела Москва — полыхала, как до того ни одна столица мира не полыхала. Она сама себя сжигала, чтобы очиститься. Пусть даже на этот раз ее поджигали французы или русские, но и без оных рано или поздно ей должно было сгореть. Так думал местный Савонарола, проповедник из старообрядческого рода, исхудалый, большебородый человек, истово веривший в земную совесть и небесную благодать. Сказать по правде, пожар Москвы доставлял ему невыносимую боль. Личную боль. В огне погибло его старинное Евангелие, погибла и его юная дочь — прекрасные проявления мира небесного и земного. Боль усугублялась тем, что он, православный человек, чувствовал и видел — словно бы его зрению открывалась вся полыхающая задымленная Москва — великое множество в огне погибших людей, икон, книг...

Он молился за погибших и живых, за русских и французов, за разоренные деревни и разбитые столицы, и он чувствовал, что повсеместно грядут новые пожары — сполохи небесной кары.

### ПОД БЕРЕЗАМИ ХАТЫНИ

Он стоял на большой поляне Хатыни, скромной, добронравной (всемирно известной) белорусской деревушки спустя пятьдесят лет, как она была сожжена, и мысленно видел сожжение. Он простоял, пробродил лунную летнюю ночь по плитам и под березами мемориала (березы-то снова поднялись!) и думал о человеческом жестоком ослеплении — о слепоте сжигающих и о прозрении сжигаемых.

### СОЖЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ

Восточных полчищ, монгольских туменов лавины. Полыхают стольные церкви, а в них, под защитными образами, — уже не надеющиеся спастись женщины, дети, старики...

Православный раскол — сожжение и самосожжение верных древнему благочестию — старому православному обряду...

Фашистское нашествие — снова сожжение в церквях, в больших зданиях, сожжение разнородными карателями русских, западнорусских деревень...

И всегда страдают люди и церкви. Недостойный смысл — обвинять прошлое, тем более народы — за их прошлое; прошлое, которое часто проступает через жестокие дела не лучших представителей народов.

В молодости был убежден: через милосердие и сострадание человечество станет единым домом; наивно надеялся, что отчий дом не потеряется, как и отчий язык, отчая песня, отчая судьба на протяжении столетий.

Но иррациональные и злоумышленные силы дьяволиады нападают...

И что впереди? Глобальный дом, унифицирующий робот, и не останется у людей ни настоящего, ни прошлого, ни будущего — справедливо увиденных и оцененных?!

### ГОРЯЩЕЕ ПОЛЕ ПШЕНИЦЫ

Юный комбайнер увидел, как у обочины поля вспыхнули языки пламени, устремились в глубь его, пожирая лоскуты тучноколосой пшеницы. Выдался такой час, что на ниве никого не было. Юноша лишь на миг растерялся, затем схватил брезент и кинулся в поля.

Разгоралось все сильнее.

В детстве он видел страду матери под сухим солнцем — как она сеяла, и косила, и убирала поле, будь оно ржаное, ячменное, пшеничное... На домашний стол почти ничего не попадало: послевоенные, как и довоенные годы, — изнуряющие и полуголодные для крестьян: поднятие разрушенной войной страны ложилось более всего на крестьянские плечи.

Юный комбайнер тушил, ослабевая, отступая, наконец, упал. И не поднялся.

Мой сын, годами помоложе, потрясенный, написал стихи о героическом и оказавшемся бессмысленным поступке юноши.

Земля приняла в себя и юношу, пытавшегося сберечь хлеб, позже приняла и моего сына, написавшего об этом. А хлеб (евангельское понятие!) в его первозданном, не генно-модифицированном мировыми «Монсантами» виде теперь уже редкость; да и не хлеб ныне на уме у многих.

## МУЗЕЙ И ПЕПЕЛ

Художник, весьма ценимый книжными издательствами и не обделенный вниманием позитивной критики, далеко не старым вернулся в родную деревню и решил построить дом на дедовском подворье. Строил долго, зато выстроил — словно старинный искусный терем! Стал наполнять его своими и подаренными ему картинами, а также книгами с надписями подчас весьма известных авторов, и таким образом в деревне, может быть, единственный на всю Среднюю Россию, появился удивительный художественный музей, двери которого были открыты для всех местных и приезжих.

Он собирался картинную галерею подарить государству. Но случился пожар в доме, он кинулся спасать забредших в его дом-музей детишек, и пока их вывел из замысловатых коридоров картинной галереи, деревянный дом запыхал и сгорел, словно спичечный коробок. Бизнесмен-коллекционер, который вынашивал честолюбивое: выстроить возле протекавшей через город реки нечто вроде гряды музеев Гугенхайма, сказал, узнав: «Слюнтяй он, мой знакомый художник. Надо было картины спасать... Музейное полотно — штучный товар!»

И поныне на подворье — обугленная пустыня. Был дом-алмаз, а теперь пепел. Неподметаемый, неизгонимый пепел. Сказывают, что по ночам здесь бродит одинокий человек — высокий и длиннородый художник, водит по воздуху руками, и в небе появляются очертания теремов, замков, городов, давно разрушенных и сожженных.

## ПРИХОДЯ И УХОДЯ — ЛЮБИТЬ

Не напрасна жизнь человека, когда он приходит в этот мир — любя и уходит — любя.

Только — сколько долго продержатся последние из могикан? Да и сам мир, в котором каждодневно расширяются территории сатанинства, не ускоряет ли бег семерых вестников Апокалипсиса и не приближает ли Второе Пришествие?

Младенец любит глаза и улыбку матери, а когда вырастет и мир перед ним — ребенком, мальчиком, отроком — открывается во всем богатстве природы, он тянется не только к лошадам и ежикам, кошкам и собакам, он тянется к каждому жучку, каждой травинке, каждой веточке и востор-

жени иavorожено часами наблюдает их видимо-невидимую жизнь. И здесь он научается чувству жалости: жалеет коня, израненного слепнями, собачонку с покалеченной лапой, раздавленного жука, сломленное деревце, срубленную ветку, сорванный листик, полевой цветок (а их взрослые набирают целые охапки, чтобы воронцам ли, василькам ли, теща праздные глаза, постоять день-другой в вазе или ином сосуде и увянуть).

И позже он научается любить подобных себе во всем многообразии их характеров, страстей, судеб. А злые, клеветущие, ненавидящие люди — разве и на них достанет его любви, разве всегда достанет выдержки и терпимости поступать согласно заповедям Отцов церкви: борись с явлением, а не с людьми, живущими в этом явлении. Нет, ты не раз, не два сорвешься в праведном, а то и неправедном гневе, глядя на искажающих образ человеческий и несущих окружающим злобу дня сего.

Здесь главное — подойти к земному концу своему, всех простив. Всех, кто тебя обманул, предал, кто ненавидел тебя, на тебя клеветал, скрежеща зубами ждал огорчений и болезней твоих, кому ты сказал жесткое справедливое слово.

Но — невозвратно изменилась жизнь. Теперь разве главное в человеке — достоинство, совесть, сострадание, стыд от содеянного греховного? Где та с остатками патриархальности семья, в которой сын от отца перенимал не только косу, рубанок, перо, но и душевный, духовный наказ? Где чувство личной и государственной части, терзаемое все новыми и новыми интернетными новостями, облаиваемое бесчисленными статьями агрессивных и лакейских ненавистников всего здорового и порядочного в мире? Где вера и уверенность человека, семьи и планеты? — Прекрасное древо мировой жизни подтачивают, словно жучки-древоточцы, невидимые и видимые финансовые и политические упыри. Где нормальное рождение, образование и воспитание человека? Целые ученые корпорации денно и ночью трудятся над тем, как расчеловечить человека, обращаться с его генами, будто с забавными мушками, не по божественному, а по инженерному замыслу образовывать его физическое бытие; киборги здесь всегда будут сильнее и крепче, ежели только не превратят человека в сугубого киборга. Где его нормальные, не надутые имена, песни, книги? Вертуны свободных профессий плодят подмены за подменами. Чем кормят человека, помимо часто ядовитого выброса газет, телеэкрана и Интернета? Чем лечат? Еще более ядовитыми транснациональными монсантами — пищевыми, фармацевтическими, бактериологическими и иными империями, перед которыми прежние империи — образцы блага и милосердия. Напирает искусственное, синтетическое, вызывая природу на бунт все новых потоков и пожаров, цунами и землетрясений. Человеческая жизнь теряет себя самое, она необратимо превращается в нечто иное. (Или ты безнадежно наивен и архаичен, вопрошая и думая так?..)

И все же... Прекрасна жизнь человека, еще не расчеловеченного, когда он приходит в этот мир — любя и уходя — любя.

## ВЗГЛЯНИ НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Чувствуя уход, огляди свои земные дороги, где работал, отдыхал, плакал, смеялся, грешил; вспомни всю свою жизнь в неотрывности от судеб близких, да и всего человечества, за будущее которого ты переживал, над былыми разнодорожьями которого постоянно и часто горестно

размышлял. Погляди на землю — не для того чтобы уберечься от рытвин, а чтобы припасть к ее подорожникам, трехкратно и тысячекратно Родине поклониться.

Ночью же взгляни на Млечный Путь. Холодный, он полыхает миллионами градусов своих зарниц, и нам ли обижаться на его бесконечное равнодушие к человеческим судьбам? Сколько перед ним прошло солнц, подобных нашему, не видимых нами звезд, разрушительно блуждавших и блуждающих в мироздании.

Взгляни на Млечный Путь, чтобы почувствовать величавую бесконечность Создателя-Зиждителя-Творца!

\* \* \*

Хрупкой рябины — не погуби  
И не бранись на тризне.  
Ora et labora! Молись и трудись!..  
Верь и люби!..  
В этом все смыслы жизни.

